

МАКСИМ КАБИР

призраки

Лауреат премий «Рукопись года»
и «Мастера ужасов»

САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА



Самая страшная книга

Максим Кабир

Призраки (сборник)

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Кабир М. А.

Призраки (сборник) / М. А. Кабир — «Издательство АСТ»,
2019 — (Самая страшная книга)

ISBN 978-5-17-114788-4

Максим Кабир – писатель, поэт, анархист. Беззаветный фанат жанра ужасов и мистики. Лауреат премий «Рукопись года» и «Мастера ужасов». Добро пожаловать в мир призраков Максима Кабира! Здесь пропавшая много лет назад девочка присылает брату письмо с предложением поиграть. Здесь по улицам блокадного Ленинграда бродит жуткий Африкан. Здесь самый обыкновенный татуировщик и самый обыкновенный сосед по больничной палате оказываются не теми, за кого себя выдают. И зловещая черная церковь звенит колоколами посреди болота в глубине тайги. Добро пожаловать в мир призраков Максима Кабира!

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-114788-4

© Кабир М. А., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Болотная трилогия	6
Черная церковь	6
Дом на болоте	16
Малые боги	27
Рассказы	38
Роженицы	38
Слухи	45
Жуки	52
Ночь без сияния	61
За пределами Котьей страны	70
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Максим Кабир

Призраки

Сборник

© Максим Кабир, текст, 2019

© Алексей Провоторов, обложка, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Болотная трилогия



Черная церковь

— Россия, — любила повторять бабка Арина, — держится на трех китах: Боге, Сталине и железных дорогах. Как сталинскую зону закрыли, так и ветку железнодорожную, что к зоне вела, бросили. А как дороги не стало — так и часть России, что от нее кормилась, померла.

В словах старухи была доля истины. Этот суровый таежный край колонизировался в буквальном смысле: где появится колония строгого режима, туда и змеятся рельсы, там и цивилизация. Вглубь болот прокладывали путь эски-первопроходцы, а по сторонам дороги возникали поселки и целые города.

В тридцать четвертом от железной дороги Архангельск – Москва отпочковалась ведомственная ветка, не обозначенная ни на одной схеме. Вела она далеко на юг, в закрытую тогда зону, и заканчивалась станцией 33, в народе прозванной Трешки. На Трешках находился исправительно-трудовой лагерь, в котором бабка Арина во времена молодости была поварихой. Обслуживающий персонал лагеря проживал в рабочем поселке Ленинск, но Арина поселилась южнее, в рыбацкой деревушке у полноводной реки Мокровы. Там живет она по сей день с мужем Борисом, хотя и река уже не та, и лагеря больше нет. После того как Трешки закрыли, лагерный район опустел. Ветку за ненадобностью частично демонтировали, Ленинск, как и десятки других поселений, обезлюдел. Сегодня в рыбацкой деревне живут три человека: Арина с мужем да старичок Кузьмич, их единственный сосед.

Тайга жадно пожирает брошенный кусок цивилизации. Зарастает мхом и кустарником дорога. Долгие зимы рушат пустые домики в поселке. Трешки ушли в лес, загородились стыдливо сосняком и лиственницей. Воплощенный в бесчисленных колониях, Сталин канул в вечность, унеся за собой безымянные железнодорожные полосы.

– Вся надежда, что Бог удержит нашу Россию, – шепчет Арина, под Россией подразумевая себя, деда Бориса и Кузьмича, забытых на окраине Родины стариков.

А Мокрова бежит серебряным шнурком, впадая где-то в Северную Двину, и никуда не выпадающие рельсы проглядывают под зеленью.

– Бог, говоришь, – качает головой Борис, показывая жене очередной улов.

Раньше в Мокрове рыбы водилось видимо-невидимо, и Борис тянул полные сети своими сильными загорелыми руками, а Арина любовалась, какой он у нее крепкий и красивый. Силы и в восемьдесят не покинули Бориса: мышцы молодецки выступали под дубленой кожей, когда он доставал улов. Но рыбы с тех пор в Мокрове поубавилось. А последнее время попадались какие-то калеки: то карася достанет слепого от рождения, то корюшку с костяными наростами на голове.

– Гляди, – показывает Борис и вовсе странный экземпляр – вроде краснопёрка, но прозрачная вся, кости видно сквозь железные бока и глазных впадин не предусмотрено никаких, – мутант, едрить его!

Арина ругает мужа за такие слова:

– Нечисть к ночи не поминай! А рыбу сожги, крестясь.

Борис подшучивает над недалекой старухой, но улов бросает в костер и крестится исподтишка.

А за Мокровой поднимается синим пламенем лес, и где-то в его недрах, в ядовитом болотном тумане, стоит Черная церковь.

– Что вы знаете про Черную церковь? – спрашивают стариков гости из Архангельска, принимая у Арины тарелки с ухой. Уху она делает из консервов, не доверяет больше реке.

В двухтысячных они сюда зачастили – субтильные городские юноши и девушки с огромными рюкзаками и огромными фотоаппаратами. На арендованных «нивах» они приезжают в тайгу, чтобы запечатлеть брошенные города. Сталкерами себя кличут, да знают ли что про жизнь в мертвой таежной зоне?

Их маршрут обычно пролегает через Ленинск в Трешки. Там и правда есть на что посмотреть. Арина, когда поясница не хватает, ходит на место бывшей работы ежевику собирать. В лагере все осталось как раньше: покидали его в спешке, никому из расформированного конвоя не хотелось задерживаться здесь. Бараки гниют, в них нары гниют; бумаги, ценность потеряв-

шие, гниют; учебки и медсанчасти гниют. Скоро-скоро Трешки станут перегноем, рухнут, как рухнула старая караульная вышка, – и ничего не останется, лишь тайга.

Щелкайте фотоаппаратами, пока можете, бледные городские дети.

Сегодня на ужин их трое пришло: два мальчика и девочка, красивая, как актриса из забытого кино. Туристы всегда заходят в поселок поглядеть, что это за рыбаки живут на окраине мира, почему не уехали вместе с остальными. Удивляются, узнав, что на всю деревушку три старика осталось. Арина с Борисом их радушно принимают, и Кузьмич в гости приходит. Он хоть маленько из ума выжил, но молодежь любит.

Дети показывают трофеи: пожелтевшие розыскные карточки, подобранные в Ленинске, фотографии Трешек (на одной видна столовая, где работала Арина). Стариков больше интересуется жизнь в Архангельске. Путин, Медведев. А Ельцин умер уже. Если даже Ельцин умер, что останется завтра, кроме тайги и болот?

Борис родился в Южанске, самом крупном населенном пункте на пути безымянной ветки. Сейчас там проживает человек триста, но всего десять лет назад это был обычный провинциальный город с достаточно развитой инфраструктурой. В девяносто шестом там даже газету выпускали – «НЛО» называлась. На все СНГ выходила. Знаете, какие темы тогда в моде были: снежные люди, пришельцы, ерунда всякая. Народ в перестройку солженицынами накушался, хотелось фантастики легкой. Вот «НЛО» и удовлетворяло запросы. Статьи там печатались одна другой глупее, но попадались и исключения. Именно в «НЛО» опубликовали забытую историю о Черной (или, по-другому, Болотной) церкви, и именно оттуда о ней узнали гости Бориса.

Но он-то желтую прессу не читал, он про Церковь и ее Архитектора с детства слышал. В Южанске про нее тогда все знали.

– Не слышал я ни про какую Черную церковь, – качает головой Борис, а сам на Кузьмича смотрит, глазами показывает, чтоб молчал. Кузьмич дурной, но понимает, что детям про такое говорить нельзя, и только сопит расстроено. Про Путина хочет разговаривать, про перспективы их края: а вдруг Путин заново лагерь построит, и жизнь наладится, и, как раньше, по брошенной дороге поезда поедут. Кузьмич бы им руками махал и дудел, как паровозный гудок...

– Но как же, – настаивает красивая девочка (Лиза ее зовут), – мы давно этой темой интересуемся, в Южанске были. Вот посмотрите.

И она протягивает старику ксерокопию документа, написанного от руки красивым почерком с «ятями» и упраздненным «і». Документ обозначен как доклад и датирован 1866 годом.

«Судом рассматривалось дело крестьянина Григория Петровича Своржа, 1831 года рождения, русского, крещеного, проживающего в городе Южанске, Архангельской губернии. Указанный крестьянин был взят под стражу по подозрению в убийстве настоятеля Михайловского храма города Южанска отца Иннокентия, в миру – Саввы Мироновича Павлицкого, убитого зверским способом в ночь на 1 мая текущего года на пороге храма. В ходе расследования подозреваемый признал свою вину и рассказал, что убил отца Иннокентия топором с целью завладения церковным имуществом. Жандармам, указавшим на отсутствие грабежа в составе преступления, пояснил, что не взял из храма ничего ввиду сильного испуга от содеянного. Учитывая чистосердечное признание подсудимого, суд постановил заковать его в кандалы и ближайшим временем отправить на каторжные работы в Сибирь пожизненно».

Ниже: дата, подпись судебного пристава (инициалы неразборчивы).

Арина читает доклад вместе с мужем, заглядывая ему через плечо. Мурашки бегут по ее коже. Оба вспоминают далекий семьдесят девятый и белозубую улыбку Павлика.

Павлик – Паша Овсянников – был им как сын, хотя знакомы они были меньше года. Его, старшего лейтенанта, перевели в Трешки из Архангельска за диссидентские разговорчики. Тридцатилетний красавец, обладавший недюжинным интеллектом и собственным взглядом на мир, возглавил лагерный конвой. Вот уж не думал Борис, что сойдется с вертухом, а с Пашей

сдружился сразу же и накрепко. От ужасов лагерной жизни сбегал лейтенант на выходные к Мокрове удить рыбу. Так они познакомились, так Паша стал добрым гостем в их доме.

Мутантов в семьдесят девятом в реке не водилось, поезда шли мимо густонаселенных берегов, эки валили лес и прокладывали дорогу вглубь таежных массивов, а Борис и Паша собирались за штофом водки обсудить политику да прессу. Интересовали лейтенанта и северные легенды, коих немало знал старший товарищ.

Арина любила Пашу, видя в нем сына, которого Бог ей не дал. Она никогда не говорила об этом вслух, но вину за смерть лейтенанта возлагала на супруга. Кто дернул его за язык, заставил рассказать про Церковь? Известно кто. Тот же, кто надоумил душегуба Своржа эту Церковь построить.

Женщина закрывает глаза и слышит паровозный гудок, и шум далекой стройки, и рев грузовичка, спускающегося к рыбацкому поселку со стороны Ленинска.

– Эй, старый! – кричит она. – Прячь антисоветскую пропаганду! НКВД едет!

– Ох, дожились! – шутливо отвечает помолодевший на тридцать лет Борис. – Слава партии, есть заначка Бухарина!

Овсянников входит в дом, кланяется хозяевам. У него ямочки на щеках и глаза голубые, как Мокрова в апреле. Только сегодня в них затаилась тревога, и задумчивая морщинка легла меж бровей.

Он снимает шинель, садится за стол.

«Уж не приключилось ли чего?» – думает Борис.

– Приключилось, Борис Иванович, приключилось.

Побеги в Трешках случались нечасто, тем более в семьдесят девятом, когда вместе с государственным режимом смягчился и режим содержания заключенных. Да и раньше бегали одни самоубийцы: бежать-то здесь особо некуда. Ежели на восток, в Архангельск или там Южанск, поймают в три счета. А к Вологодской области, в тайгу, смысла и того меньше. Дед Бориса говорил, что архангельские болота прямо в ад идут, что глубина их непостижима. Ерунда, конечно, однако утонуть в трясине проще простого. Потом, медведи, волки, кикиморы – тайга полна разным зверьем. Заключенные и при Ежове с Берией считали, что расстрел лучше, чем сгнить в лесу. А тут такое – побег!

Борис справедливо полагал, что за последнее время вохра совсем обленилась, переложив свои обязанности по охране эков на природные условия края. И вот итог: вчера перед отбоем обнаружили нехватку двоих рецидивистов.

– Мы, – Паша говорит, – до рассвета подождали, а только небо порозовело, пошли на восток. В октябре проверка из Москвы, не хватало нам такого конфуза. Взвод пошел, там, где рельсы заканчиваются, разделились по трое.

– Через Пешницу пошли? – спрашивает Борис. Пешница – так называлось когда-то село за станцией; его, когда Боря маленьким был, лесной пожар уничтожил, да так и осталось пепелище.

– Через Пешницу и вглубь. Где Мокрова мельчает.

Борис присвистывает: далеко зашли. В памяти всплывают истории стариков про духов леса, про кикимор с болотницами, про церковь Своржа.

А Паша рассказывает. Шел он с двумя подчиненными, палкой прощупывал почву на предмет топи. Выбирал такой маршрут, какой выбрал бы, будь он беглецом. К девяти утра наткнулся на прогнившие деревянные сваи, что в былые времена поддерживали мост. Моста нет, а эти почерневшие бивни остались. И возле них следы недавнего привала. Попались голубчики.

По свежим следам повел Паша свою группу дальше. А потом... потом...

– Ты, Паша, рассказывай, ничего не скрывай. И не бойся глупым показаться. Ужель птицы петь перестали?

Паша удивленно вскидывает брови: откуда знаете?

– Да как же, пятьдесят лет здесь обитаю. Кое-чего про тайгу нашу слышал.

– Да, – продолжает Паша, – птицы замолчали. Будто пластинку кто-то выключил. Резко так. И потемнело, словно сумерки уже. Мне не по себе стало, но я от ребят скрыть пытаюсь, хотя вижу – и они смущены. Вокруг сосны, торфяник. Мысли о смерти в голову лезут. И еще чушь всякая. И это... перекреститься захотелось.

Член партии смущенно опускает глаза. Он, наверно, и креститься-то не умеет, а вот захотел. Потребовалось.

– Стыдиться нечего, – твердо говорит Борис. – Я в детстве туда по грибы ходил. И креститься хотелось, и в монахи постричься. Нехорошее место, Павлик, очень плохое. Если эки твои пропали – не найдешь. И искать не стоит.

Лейтенант молча смотрит в окно, на тайгу за Мокровой, а потом негромко говорит:

– Так мы нашли. Нашли.

И впрямь нашли – недалеко от моста разрушенного, на природной залысине посреди леса. Одного – мертвым, другого – абсолютно сумасшедшим.

– Бывает ли такое, чтоб человек за одну ночь с ума сошел? – спрашивает Паша. – Да ладно, человек – Михайлов, бандит, каких свет не видел. Он в Омске дюжину людей зарезал, и ничего, психика не расстроилась. А тут...

А тут рецидивист Михайлов задушил товарища по побегу Челядинова, набил полные уши болотного ила (и себе, и трупу) и сел посреди поляны дожидаться конвоиров.

– Еще и пел при этом! – подчеркивает ошарашенный Овсянников.

– Что пел? – не из праздного любопытства уточняет Борис.

– Да может, и не пел, а просто повторял: «Бом-бом-бом»... Но нараспев так... На нас никак не прореагировал. Глаза стеклянные, в одну точку смотрит и талдычит свое. Мы его под белые ручки и доставили в лагерь. Он сейчас в лазарете связанный, что с ним делать, ума не приложу. Мои орлы тоже молодцы – едва заставил вернуться за Челядиновым. Борис Иваныч, я вот думаю, может, они ягод каких съели, что крыша у них поехала?

– Тут не в ягодах дело, – отвечает Борис. – Ты, Паша, про Черную церковь слышал?

– Не слышали мы ни про какую церковь, – отвечает Борис детям в две тысячи девятом году, – ближайшая церковь в Южанске. Раньше в лагере было что-то вроде молитвенного домика – будка такая с иконой. Но она в девяностых сгорела.

Кузьмич прячет глаза, когда красавица Лиза обводит присутствующих пытливым взором.

«Не верит, – понимает Арина, и тоска пронзает ее сердце. – Истину ищут, бесята, а истина-то в болоте на дне!»

– Вы не могли о ней не слышать, – произносит Лиза. Она явно главная в их троице. Парни молчат, смущенные ее наглостью. – Вот здесь о ней писали.

Девушка достает из рюкзака потрепанную газету со статуями острова Пасхи на обложке. Южанская «НЛО» за девяносто шестой год.

Борис хочет ответить, что подобный мусор не читает, но его сбивает выражение Лизиного лица. С какой мольбой, с какой надеждой смотрит она на него!

– Я эту статью в детстве прочитала, – говорит девушка, – в девять лет. И так мне эта история врезалась в память, что когда мы с ребятами начали сайт про аномальные явления верстать, первое, что в голову пришло, – написать о Болотной церкви. Я все архивы облазила, все, что можно, нашла. Здесь она была, возле Трешек. Но где именно? Где?

Борис разворачивает газету, шелестит желтыми страницами. На развороте статья с громким названием «Таежное чудо».

Старик пробегает глазами по строчкам: «Чем занимался Сворж в ссылке, никто не знает, но доподлинно известно, что через тринадцать лет после убийства батюшки он вновь появился в Южанске. Живой и очень страшный».

О том, что Григорий Петрович Сворж вернулся, в Южанске слышали. Его даже видели несколько раз: заросшего бородой до самых глаз, постаревшего, будто почерневшего кожей. Он-де ночевал по оврагам, питался на базарной помойке. Сдавать жандармам его не стали. Люди полагали, что человек, который пешком прошел от Сибири до Южанска, свой ад уже перенес, и мучить его сверх того не по-божески. Была еще одна причина – жуткий взгляд черных-пречерных глаз каторжника. Связываться с ним не хотели. Поговаривали, что из ссылки он сбежал не один и что товарищами своими в пути питался. Поговаривали, что за грязными усами он скрывает клыки. Да мало ли что поговаривали. В конце концов, Сворж недолго пробыл в Южанске. В тысяча восемьсот восьмидесятом (ему тогда было почти пятьдесят лет) он ушел на восток, и след его затерялся еще на несколько лет.

Всплыло имя Григория Петровича в середине восьмидесятых годов XIX века. По краю прошел слух, будто на болотах за Пешницей поселился страшный как черт мужик и будто строит он там дом.

– Не дом он строит, а дворец! – говорили сельские жители. – Уже три этажа возвел, самостоятельно!

– Из чего ему строить? – не верили скептики. – Не иначе, в Вологде гвоздей закупил?

– Без гвоздей строит! – клялись первые. – Из коряг, из окаменевших деревьев да грязи. А по ночам ему строить караконджалы помогают.

Караконджалами в народе называли спутников Лиха Одноглазого – рогатых безобразных тварей.

– Вот что! – вступал в разговор взрослых веснушчатый мальчуган. – Я на болотах ягоду собирал, собственными глазами стройку видел. Нет там никаких караконджал. А Сворж есть. Косматый, злой. И то, что он строит, верно, только это не дом, а церковь. Черная она – что стены, что крыша. По бокам ее балки подпирают – бревна сосновые. Вся она неровная, неправильная – жуть берет. С купола ил стекает, а на маковке вместо креста перекрученная коряга. Я, как увидел, сразу оттудова деру дал!

И вновь пошли слухи, от Пешницы до Южанска, про церковь Болотную Черную, хоть ее саму мало кто видел. Не потому, что пряталась она, а из-за страха людского разумного на грешное дело смотреть. Но были смельчаки, и подтверждали они: Церковь существует.

– Ну и что! – отмахивались упрямые скептики. – Согрешил человек, теперь вот грехи замаливает, храм для лесных зверюшек строит.

– Не для зверюшек, а для хмырей болотных. И сам он уже на человека не похож: лает, на четвериках скачет, да знай бока своего уродства глиной смазывает.

Но какой бы невидалью ни была болотная стройка, глаза она не терла, ибо оставалась скрытой в таежной чаще. И Архитектор (как прозвали каторжника) к людям не заходил. Шли годы, церковь превратилась в местную страшилку, обросла вымышленными подробностями вроде икон с рогатыми мордами и трона внутри (для самого Лиха). В восемнадцатом году людям было не до фольклора. Гражданская война докатилась и до самой тайги. Интервенты захватили Архангельск. Потом, в двадцатом, пришли большевики, и неожиданно даже для местных жителей один архангельский комиссар вспомнил про Болотную церковь.

Борис опускает глаза в низ газетной страницы, на фамилию автора статьи.

– Почему бы вам не расспросить этого Павлухина В. А.?

Он искренне надеется, что некий Павлухин В. А. давно мертв и не сможет послать детей туда, куда сам Борис когда-то послал лейтенанта Овсянникова. Он удивляется, когда Лиза говорит:

– Мы хотели его разыскать, но оказалось, что автор «Таежного чуда» погиб. Вскоре после выхода этого номера Павлухина разорвала его собственная овчарка.

– Случается, – стараясь скрыть эмоции, бубнит Борис.

– Может быть, вы вспомните? – просит девушка. – В детстве вы наверняка слышали эту историю. Большевики хотели использовать Церковь в антирелигиозной пропаганде, показать народу, до каких извращений дошли богомольцы. Они отыскиали храм Своржа, но что случилось потом?

Потом...

Потом был семьдесят девятый год, водка в граненых стаканах, сало и черный хлеб, закат на пиках сибирских елей, и еще живой Паша Овсянников...

– И что же, нашли большевики эту церковь? – спрашивает Паша. А Борис продолжает рассказывать историю Своржа и не замечает, как горят глаза слушателя. Как жадно внимает он каждому слову.

– А то. Их местный мальчуган провел. Комиссары как увидели плод многолетних трудов мастера-отшельника, так и побагровели от ярости. Всякое желание агитировать пропало. Одно желание осталось – стереть с лица земли богомерзкое сооружение, да поскорее. Они-то все умерли вскоре, красноармейцы эти, но мальчик-проводник прожил долго и говорил, что старшой их плевался и кричал: мол, уничтожить немедленно. Порешили они вернуться с пулеметами и издалика церковь расстрелять.

– А чего ж не сжечь или взорвать?

– Того, что к самой церкви они дороги не нашли. Будто из самой топи она росла, так, что только издалика смотреть и можно. Они притащили доски, сколотили помост на берегу. Уже приготовились стрелять, как вдруг из лесу выбежало что-то похожее на большого пса. Ну, это им так показалось, на самом деле то был старик, только уж больно неухоженный, заросший и черный. И передвигался он как пес. Рассказывают, зыркнул дикарь на советскую власть глазами горящими – и шасть в церковь. Лишь внутрь зашел, как постройка покачнулась, закрипела черными бревнами и миг исчезла. Утонула в болоте, только рябь над кривым крестом пошла. Не в кого стрелять красноармейцам, пошли они домой. А затем и умерли один за другим, кто от чего.

– Враки! – горячо восклицает член партии Овсянников. – Где такое видано, чтоб здание на трясине стояло!

– Тише, тише! – шепчет Борис, косясь на дверь. Не хочет, чтоб жена услышала, какими он байками тешит гостя. – Не враки, а легенды. С легенд спроса нет, им ни доказательства не нужны, ни этот ваш реализм. Мне дед рассказывал. Я тебе рассказал.

– Хотите сказать, что это было на том месте, где мы беглецов нашли?

– Нет. Много глубже. Это сейчас тайга начинается за Пешницей, а в двадцатом там еще Мокрова текла. Оттуда и остатки моста. Я в тех местах в детстве гулял вопреки родительским наставлениям. Отец, узнав, журил, а бабка прям порола. Порола и повторяла: «Хошь болотные колокола услышать, пострел?»

Паша спрашивает про колокола.

– Это тоже часть легенды. Как церковь в болоте утонула, так из топи по ночам колокольный звон раздастся. Мол, за старания бесы подарили Своржу колокол, кто его звон услышит, тот разума лишится. Старики запрещали в тайгу ходить, чтоб ненароком на проклятое место не напороться. Но это, как ты понимаешь, тоже выдумки.

Борис подливает лейтенанту водки.

– Погодите, Борис Иванович. Не хотите ли вы сказать, что Михайлов услышал звон болотных колоколов?

Паша спрашивает так серьезно, что Бориса охватывает смутное беспокойство.

– Да ну, – нарочито весело отвечает он, – говорю же тебе, если и была Церковь, то намного южнее. И вообще, какая церковь Болотная, когда наши спутники бороздят космос?

– Фольклор не из воздуха возник! – спорит Лиза, возвращая старика в сегодняшний день. – Существовала церковь, вы нам просто дорогу показать не желаете, ведете себя с нами как с детьми. А у нас все оборудование имеется, и по болотам нам ходить не впервой.

– Фу-ты ну-ты, заладила! – злится Борис. – Если б существовала она, сюда бы давно туристы нагрянули, разобрали бы ее на сувениры. На месте Трешек построили бы ларьки, чтоб торговать уменьшенными копиями.

Кузьмич радуется этой мысли, свистит как паровоз, но никто не обращает на него внимание.

– Вычитали глупость, и сами глупостью занимаетесь! – заканчивает Борис гневную тираду. Арина гладит его по плечу: «Ну, не надо, они не хотели тебя обидеть!»

Лиза, виновато потупившись, извиняется.

– Мы так надеялись, – говорит она.

А в памяти Бориса возникает Паша. Красивый, молодой. Смотрит он на старика пытливо и говорит:

– А я, Борис Иванович, недавно был в тайге.

– За грибами, небось, ходил? – спрашивает непонятливый Борис. Он слишком сосредоточен на поплавке и про церковь совсем забыл. С тех пор как он рассказал о ней товарищу, прошел месяц.

– Я на том месте был, где мы беглых нашли.

Удочка едва не выскальзывает из рук Бориса.

– Это еще зачем?

– Ну, как же. Интересно мне стало. Михайлов-то так в себя и не пришел, вынуждены были его в область конвоировать. Пускай нет там ничего, но причины для его безумия быть должны. Научные причины. Может, газы какие, может, акустика особая.

– Научные! – восклицает Борис. – Нет там никакой науки, и соваться туда нечего!

– Нет, вы послушайте! – мягко возражает Паша. – Принимали ведь раньше обычное болотное свечение за болотных духов! Называли его свечками покойников, считали, что это древние призраки клады стерегут. А теперь мы знаем про возгорание метана, радиоактивные осадки, фосфоресцирующие организмы! Стало быть, и другие мифы объяснимы с научной точки зрения. И про колокол ваш тоже!

Борис, бросив удочку, спорит, убеждает, умоляет друга оставить затею, не приближаться к болотам, и тот вроде соглашается...

Вроде...

– Ты что же, старый болван, Павлику про церковь рассказал? – кричит Арина, возвращаясь с работы. – Он у всех в лагере о ней спрашивает, ко мне в столовую с расспросами заходил!

– Да я так, байку травил, – бурчит Борис, – не веришь же ты в самом деле, что она там до сих пор?

И жена качает головой, и пьет настойку от сердца, и Мокрова течет и течет вдаль.

А Пашки в феврале не стало. Пропал без вести – как его ни искали, не нашли. Известно лишь, что он незадолго до исчезновения в областную психбольницу ездил, Михайлова навещал.

Течет быстрая Мокрова вдоль живописных берегов. Течет параллельно ей старая железка, укутанная травой и мхом. Желтый и зеленый цвета правят в этом краю всеми своими оттенками. И вдруг – брошенная изба черным пятном посреди луга. Остов трактора с еще сохранившейся синей краской на ржавых боках. Потом болота, все еще крепкие железнодорожные мосты, покосившиеся семафоры. Устремляются рельсы сквозь заросли лиственницы, а за ними целый поселок: десятки заколоченных домов, деревянный клуб с провалившейся крышей, пожарная часть... Некому больше здесь жить, нечего охранять. Дальше на юг – пожираемая тайгой, похожая на покусанное яблоко колония. Перекрытия крыш вывороченными

рыбьими ребрами торчат над бараками. Кое-где еще сохранились стекла. Над оврагами гниют мостки, огороженные ржавыми решетками. Тронешь железо – превратится в труху, как обратился в труху смысл бодрых, но лживых лозунгов, развешанных то тут, то там. За Трешками нет ничего. Ничего человеческого.

Весной восемьдесят девятого года приснился Борису сон, будто кто-то в избу стучит посреди ночи. Он двери отпирает, а на пороге Паша. Шинель насквозь мокрая, лицо блее белей глины, а под глазами темные круги.

– Где же ты был столько лет? – ахает Борис, впуская гостя в избу.

Входит Паша. Походка у него странная, ноги не гнутся, и пахнет от него болотом, и тина с шинельки свисает. Но ведь это Пашка! Пашка вернулся!

Борис кидается на кухню, режет хлеб, наливает в стопки водку. Гость, скрипя суставами, садится за стол. Берет ломтик ржаного. Нюхает.

– Все это правда, – говорит он грудным булькающим голосом и смотрит на старика пронзительным взглядом. – Про Своржа и колокола.

Он накрывает хлебом свою стопку и произносит тихо:

– Ты, Борис Иванович, меня найди. Там несложно. От старого моста на север. Сам все поймешь. Только ищи меня на Пасху. На Пасху болотным колоколам звонить запрещено. Никто тебя не тронет. Как найдешь, сам поймешь, что делать.

Засим он встает и тяжело уходит к дверям.

– Пашенька, подожди, я Арину разбужу! Она за тобой каждый день плачет, пусть хоть краем глаза на тебя посмотрит.

Но гость уходит не оборачиваясь, и Борис просыпается в холодном поту.

На Пасху он взял у соседа мотоцикл с коляской и поехал на юг, ничего не сказав Арине. Оставил транспорт в Пешнице, оттуда пешком. В одной руке лопата, в другой – багор. А в голове все байки, что он когда-либо слышал. Про желтолицего болотника, пугающего грибников вздохами да всхлипами. Про кикимор, заманивающих путников в трясину криками о помощи. Про болотных криксов, запрыгивающих на спину и катающихся на человеке верхом до первых петухов. А еще про хитрых лесавок, уродливых шурале, злыдней и хмырей...

А вокруг, куда ни глянь, топи, и черные столбы деревьев стекают с зеленых крон, и колыхается ряска над смертельными ямами. Ягод – видимо-невидимо, и слышны голоса тетеревов, глухарей, пищух, неясней. А потом нет голосов. Нет птиц. И хочется побежать назад, но Борис не сворачивает, на ощупь идет через тайгу.

Сегодня Пасха. Сегодня нечисти на земле делать нечего.

Пашу он нашел. Паша лежал на изумрудно-белом покрывале кислицы, почерневший, но не разложившийся за десять лет. Черная выдубленная кожа облегла высушенное лицо, перекрученные кисти торчали из рукавов шинели. А шинель мокрая насквозь, хотя дождей не было уже месяц. Значит, раньше он лежал в болоте, где кислород не может разрушить ткани, где холод и сфагнум законсервировали его труп, обратили в торфяную мумию. И лишь недавно кто-то достал Пашу из болота, чтобы Борис предал его земле.

Хоронили лейтенанта рыбаки из поселка. Никому в Ленинске не сказали. Там никого уже не осталось, кто помнил бы Овсянникова, а родных у Паши не было. Кроме Арины с Борисом. Не хватало, чтобы, узнав о мумифицированном трупе, в тайгу нагрянули ученые. Нет в тайге науки. Черная церковь есть, а науки нет.

– Простите нас, – говорит Лиза, пряча в рюкзак злосчастную газету, – и спасибо за угощение.

– Вы нас простите, – смягчается Борис. – Мы здесь совсем от людей отвыкли. Сколько лет вдвоем кукуем.

Гости собираются, благодарят за уху. Испортившаяся было атмосфера вновь налаживается. Кузьмич достает из кармана горстку конфет «Холодок» и протягивает Лизе. Улыбается. И вдруг впервые за весь вечер начинает говорить:

– Это еще что! Это разве невидаль! Вот была война, фашисты землю забирать пришли! Весь народ советский встал супротив. И звери встали, и птицы. И все существа встали. И домовые, и банники, и лесавки с водяными – все на войну пошли. Сталин отряд сформировал из нечистой силы, и она с фашистами сражалась, вот как было. Банники их камнями раскаленными били, лесавки в топь заманивали. Леший с пути сбивал и прямо на мины вел. Здесь это было, у нас. Не зря на гербе нашей Архангельской области святой архистратиг Михаил в лазуревом вооружении, с червленым пламенеющим мечом и с лазуревым щитом, украшенным золотым крестом, попирает черного лежащего дьявола. Низвергнут лукавый, фашисты низвергнуты. Лишь болота остались. Черт, когда мир создавался, похитил у Господа кусок земли, съел да выблевал. Вот и болота получились. А вы говорите, невидаль.

Все смотрят на Кузьмича удивленно, а потом Лиза произносит своим красивым голосом:

– Ну, нам пора. А церковь мы и сами найдем. Тайгу с ног на голову поставим, но найдем.

И долго потом смотрят старики, как арендованная в Архангельске «нива» поднимается по склону от рыбацких избушек, делает поворот и уносится в сторону Пешницы.

– Так тому и быть, – вздыхает Борис, – вы церковь найдете, я – вас найду.

Арина крестится и заставляет Кузьмича перекреститься, но тот гудит как паровоз и машет птичьей лапкой вслед исчезающему автомобилю.

Вот уже двадцать лет подряд ходит Борис на Пасху в тайгу. В этот день отдает болото по одной своей жертве, выкладывает ее аккуратно на покрывало кислицы, чтоб старик забрать мог. Раньше легче было, а нынче он совсем дряхлый стал. Порой до сумерек волочит труп по лесу. Все они под ольхой похоронены, недалеко от поселка. Пашка первый был. Сейчас там целое маленькое кладбище. Двадцать торфяных мумий.

Борис, когда еще почта до них доходила, выписывал журнал «Дружба народов» и прочел в одном из номеров стихотворение Александра Блока:

Полюби эту вечность болот:
Никогда не иссякнет их мощь.
Этот знак, что сгорел, – не умрет.
Этот куст – без истления – тощ.

Теперь, закапывая очередную мумию, он читает блоковское стихотворение вместо молитвы, и Кузьмич сопровождает чтение паровозными гудками сложенных в трубочку губ.

Одинокая участь светла.
Безначальная доля свята.
Это Вечность Сама снизошла
И навеки замкнула уста.

Однажды он и Лизу похоронит: почерневшую, скорченную. Если до Пасхи сам не помрет.

И мерещится ему болото, где под ряской, под трехметровым слоем утрамбованных трупов лосей, росомах, волков, лисиц, белок, бурундуков, стоит Черная церковь. И горят в ее окнах бледно-голубые огни – свечи покойников. И ждет она, что однажды опоздает старый Борис, не успеет до окончания Пасхи из леса уйти.

И мощь ее никогда не иссякнет.

Дом на болоте

В субботу, после уроков, Родион Васильевич Топчиев поехал в город, на почту. Отправил дяде письмо и забрал долгожданную посылку. Обрато в Елески вернулся затемно. Возница спешил, погонял приземистую лошадку по узкой лесной тропинке. Родиону не терпелось испробовать фонарь, вознице – выбраться скорее из леса, домой, где семья и иконы в углах.

Наконец кедровник разомкнулся, и на пригорке, подкованная мелкой речушкой, показалась деревня.

Топчиеву, человеку порядочному и честному, зазорно было привирать родителям про новую свою жизнь, однако врал, вынужденно. Напиши он, что каморка при школе в два аршина шириной и пять длиной, что учеников едва ли полторы дюжины, и на все про все сто двадцать рублей годового жалованья, отец не преминул бы, прибыл. Вошел бы, сутулясь, дал в лоб непутевому сыну пудовым кулаком, и назад, в свой уезд, – погостил, и будет.

Старший брат Родиона окончил школу казенных десятников, средний поступил в приказчики в торговую лавку. «А Родя-то наш, – мать всхлипывала, как над домовиной, – страсть к науке питает! Учителем быть хочет!»

Топчиев-младший бежал от родительской опеки. Отмучился в церковно-приходской, во второклассной учительской. Зубрежом и «Филаретовским катехизисом» отваживали от науки: сдюжил, не разлюбил. В тяжелые часы выручали книги – их дарил двоюродный дядя, книготорговец из Петербурга. Продолжать обучение в педагогической семинарии не хватало финансов, но введенная к пятидесятилетию Севастопольской обороны высочайшая льгота позволяла ему, внуку защитника Севастополя, восстановиться бесплатно со следующего года. Дядя звал поработать в книжном магазине до лета. Родион Васильевич же предпочел столице Богом забытую деревушку, где болотные испарения валили с ног, а вместо классной доски была приколочена столешница.

Жизненный опыт ставил молодой учитель грамоты и народного образования превыше всего.

Очутившись в загроможденной книгами каморке, Родион натопил печь и разложил на столе сокровища: учебник по немецкому языку Туссена и, главное, волшебный фонарь. Пошел-кал внутренними счётами. Чудесный фантаскоп с параболическим рефлектором и регулируемой трубки обошелся ему в четыре рубля и семьдесят пять копеек. Туссен – за шестьдесят три копейки, плюс услуги возницы, итого семь рублей – три четверти месячной зарплаты. Хорошо еще, что еду, стирку и свет оплачивало волостное правление.

– Прорвемся! – сказал Топчиев и закатал рукава. Он покрыл фонарное стекло лаком и разглаживал по его поверхности бумагу, когда в дверь постучали. Согнувшись, чтобы не набить шишку, в каморку втиснулся бородатый мужик в армяке. Угрюмо оглядел стопки томов. «История мира» Гюпара, «Физическая география» Зупана, «Сила и материя» Бюхнера, «Капитал» Маркса в трактовке Каутского. Впрочем, он вряд ли мог читать буквы на корешках.

– Меня хозяйка ваша прислала, – буркнул из густой бороды. – Вы водки просили.

– Просил! – учитель взял у мужика бутылку с мутной жидкостью и отрекомендовался: – Родион Васильевич Топчиев.

– Иван Хромов.

Мужик потопал к дверям, но Родион задержал его:

– Уделите мне пять минут. Я продемонстрирую кое-что.

Хромов послушно, но без воодушевления замер.

– У вас дети есть?

– Дочь.

– Грамотная?

Гость отрицательно качнул головой.

– Чего ко мне в класс не ходит?

– Взрослая она. Ваша ровесница.

– Ей двадцать два?

– Шестнадцать.

Учитель спрятал за фонарем подрумянившиеся щеки. Он стеснялся и досадовал, если люди принимали его за подростка.

– Пусть приходит, – сказал он, откупоривая бутылку и выливая самогон в крынку. Хромов потер рот произвольным жестом и тускло сверкнул глазами.

– Крепкая? – осведомился Топчиев.

– Обижаете.

– То, что надо.

Топчиев, к пущему изумлению Хромова, макнул в драгоценный напиток комочек ваты и промокнул им листок.

– Продукт переводите, – проворчал крестьянин.

– Перевожу вредное вещество в полезное, – сказал Топчиев. – В Елесках, небось, самогона в достатке.

– Не знаю. Я два года не пью, – в голосе прозвучала грусть по ушедшим временам.

– Отчего так? – пальцы учителя ловко убирали с бумаги пузырьки. – Здоровье шалит?

– Коплю, – пробасил Хромов. И нерешительно замялся.

– Говорите же, – подбодрил Топчиев.

– Вы вроде как в Петербурге бывали?

– Да. Мой дядя там работает. У него свой книжный магазин на Литейном.

– А доктора Гюнтера вы знаете?

– Нет. Кто это?

Хромов вынул из кармана газетный лоскут. Расправил любовно.

– Мне Авдотья прочитала. Вот.

– Так-так, – Топчиев пожевал губы. – Универсальное и чудодейственное средство от глухоты и немоты доктора Гюнтера? Вы на это копите?

Мужик потупился.

– Для дочери? – спросил учитель, возвращая вырезку с рекламой.

Кивок.

Топчиев промыл бумагу теплой водой, поддел ногтями и аккуратно соскоблил. На стеклышке отпечатался рисунок, который учитель смазал сливочным маслом.

– Не существует в природе никакого универсального средства от глухоты и немоты, – сказал он с сожалением. – Потому как причин для этих хворей множество. Не меньше, чем шарлатанов Гюнтеров.

Хромов промолчал.

Топчиев залил в конденсатор воду с соляным раствором, зажег ацетиленовую лампу.

– Готово! – отрапортовал и нацелил фонарь на пришипленное к стене полотно ткани.

Хромов ахнул, когда в центре белого экрана возникло чудище с гребнем и клыкастой пастью.

– Паралич тебя расшиби! Черт!

– Не черт, а динозавр, – сказал довольный Топчиев. – Динозавры жили на Земле в доисторическую пору. А данный тип называется бронтозаурус.

– Черт это, – упорствовал крестьянин. – Черт болотный, я его сам видел, мальцом. И механизм ентот видел, у помещика Ростовцева много таких было.

– Ну, пускай, пускай, – мягко улыбнулся Родион. – Важно, что этим демонстративным устройством обладаю я. С ним дети за партами не заснут.

Хромов осуждающе косился на динозавра. Будто хотел плюнуть во вражью морду.

– Вы бы их лучше молитвам учили, а то в прошлом году двое пропали в лесу – Фимкин да Игнатов пострелы. Без молитв-то.

Он отворил дверь, и коридорный сквозняк сдул на струганные доски пола клочки бумаги.

– Иван.

Хромов глянул через плечо черство.

– В Сестрорецке есть училище для глухонемых с мимическим методом обучения.

– Ага, – пробурчал Хромов. – Двести пятьдесят рублей с пансионом в год. Вы мне, что ли, эти деньги дадите, господин советчик? Или крокодил ваш?

Он хлопнул дверью, оставив Топчиева одного с парящим на стене чертом.

Завтракал Родион Васильевич у хозяйки: в его каморку та не вмещалась, колоссальным бюстом своим опрокидывая скарб постояльца.

Изба была большой, с изразцовой печью и даже модными напольными часиками. Авдотья Николаевна, бойкая и нестарая еще вдова, выставляла на стол тарелки. Щи, сдобренные свиной затолкой, и кулеш.

– Кушайте, пока можете, – приговаривала она. – Мужики вон подать совсем не платят. Волость грозит школы грамоты закрыть, а вас домой спровадить.

– Как же закрыть? А детям, что же, темными расти?

– А не в грамоте счастье. Меня, что ли, грамота осчастливила? Мужа похоронила, сыновья на каторге. Я и уроки брала, чтобы письма их с Сибири читать, да не пишут они мне, революционеры мои бедовые. Где счастье-то?

– А что за помещик у вас такой, – сменил Топчиев тему, – Ростовцев? Я бы познакомился с ним.

– Так поезжайте в Эстляндскую губернию. Али в Курляндскую, я уж запомнила, куда он от нас съехал. Пустует его усадьба, он конюху, Яшке Шипинину, за порядком следить наказал. А Яшка сумасшедший. Все, кто подолгу на болоте живут, разум теряют.

Топчиев отщипнул от хлебного мякиша. Мистические байки внушали ему интерес. Препарировать, выковырять из сказочного плода косточку научного объяснения – вот что его волновало.

– И что же помещик? Тоже разум потерял?

– А он без разума уродился, – ответила женщина, подавая квас. – У них так заведено. За кривым лесом грибы редко кто собирает, а дед его дом построил по соседству с кикиморами и анчутками. Отец Ростовцева чудаком был. Пушку в столице купил, и, как тучи к грозе – он ну по тучам палить. А пушка громкая – чухонцам слышно. В Елесках только креститься успевали. Умер он году в девяносто шестом. Или седьмом. Когда перепись велась. Усадьба младшему перешла, Тихону Фирсовичу. А он весь городской, куда там! Музыканты, вино рекой, «Афинские вечера» устраивал с умыканием молодок. Лет шесть назад выдумал блажь – пруды в парке выкопать. Нанял Ваньку Хромова и Якова Шипинина. И мой Степан покойный третьим подвязался. Молотьбой не прокормишься, ежели машины кругом, а Ростовцев тридцать копеек за кубическую сажень торфа платил. Вот и сочти: мужики две тачки в день делали, два куба. Пять мер картошки да мешок одежды. Тащили они с болот грязь, плотины возводили, рыли каналы. Ну и дорылись. Такая семейка: папаша по ангелам стреляет, а сынок в пекло копает.

Хозяйка захлопотала у часов, подтянула цепочку с гирей.

Топчиев ждал.

– Уж не знаю, что там произошло, но Степан мой слег с жаром да так и не выздоровел. Шипинин умом повредился, а Машенька Хромова – она тятке еды принесла – мигом онемела. Судачат, в тот день вода в колодце Ростовцева пожелтела. Ну и Тихон Фирсович пруды забросил и, года не минуло, оседлал бричку – и с глаз долой. – Женщина перекрестилась на иконы. –

Нам учителя приписали, а нужно дьячков, много дьячков, чтоб денно и ночью отчитывали. Обереги, Господь, и помяни Давида и всю кротость его.

Сытый и в превосходном настроении, Топчиев блуждал по проселочной дороге. Гулял без цели, напевая шансонетку на мотив кекуока. Остались за спиной избы, собачья брань, чинящие дровни мужики, песня «Вниз по матушке по Волге» в заунывном исполнении пьяницы Игнатова. Впереди лежали поля и немыслимые версты болот. Заболотились нивы, осели серые пашни. Сизый пар клубился над бороздами пажитей, пепельное небо оглашалось криками уток.

– Хорошо-то как! – молвил Родион.

Наслаждаясь осенним пейзажем, он с юмором вспоминал беспокойство Мальтуса о перенаселении Земли. Всем место найдется: и людям, и зверям, разве что кикимор придется выгнать из просветлившихся голов.

Слева от тропинки шуршал чахлый лесок – не то что кедровник да орешник на другой стороне Елесков. Корни деревьев питал торфяник, ядовитый туман окуривал больные стволы.

Девушку Топчиев заметил издали. Ускорил шаг.

– Доброе утро!

Она обернулась, брызнула небесно-голубыми глазами.

В учительской школе Родион сочинял стихи. Стыдно сказать, рифмовал постоянно, аки Симеон Полоцкий, мечтая о поэтической славе. Привечал и классиков, и декадентов: их как раз пустили в печать. Отец, оцени он свежие веяния, за одного Бердяева избил бы деревянной ложкой, что уж говорить про Бальмонта с Сологубом.

Избавиться от дурного занятия помог уважаемый литературный журнал. Опубликовал не шедевры юного поэта, а ответ на его письмо.

«Подписчику г-ну Топчиеву: „Ваше стихотворение указывает на крайнее незнание со стихосложением. Заботьтесь о своем образовании, а стихи пишите исключительно в часы досуга“».

Теперь Родион благодарил журнал за совет, но встретить он голубоглазую селянку в семнадцать, рифма хлынула бы фонтаном.

У девушки было прелестное курносое личико, пшеничные мазки бровей и трогательные веснушки, зябкие на покрасневших щеках. Простоволосая, с искусственным цветком в темнорусых прядях и платком на плечах. С лукошком на сгибе локтя.

– Прогуливаетесь? – спросил Топчиев, осмелев под прямым и дружелюбным взглядом.

Девушка вручила ему горсть ягод.

– О, ежевика!

Он принял угощение, скривился от ягодной терпкости.

Девушка беззвучно засмеялась.

– Родион Топчиев. Месяц как учитель в Елесках.

Девушка молчала, но ни смущенной, ни напряженной не выглядела.

– Вы Маша Хромова! – осенило Родиона. – Я беседовал с вашим отцом. Вы... вы меня слышите?

Она кивнула весело.

– Я разыскиваю поместье Ростовцевых. Не будете ли вы любезны...

Она не дала договорить – махнула тоненькой кистью и пошла по тропинке.

«Прекрасная компания для утреннего променада», – подумал Топчиев.

– Вы знали помещика?

Маша посуровела, подкрутила невидимые усы и манерно пыхнула невидимой трубкой.

Топчиев рассмеялся искренне.

– У вас замечательно получается! А его отца вы помните?

Девушка растопырила пальцы, изображая взрыв.

– Пушка! Браво.

Маша сыграла облако, убитое залпом и спикировавшее в бурьян.

– Он боролся с градом, – сказал Топчиев. – Прикрепил к мортире воронку из листового железа для усиления шумового действия.

Маша внимала рассказу. Учитель продолжил, поощренный:

– При выстреле из дула мортиры выходит кольцо дыма, которое развивает значительную механическую силу. Листовая насадка способствует ее развитию. Полагают, что, долетев до градовой тучи, кольцо уничтожает неустойчивое равновесие атмосферных слоев и нарушает процесс кристаллизации градовых ядер. Но вопрос в том, способен ли обычный залп достать до тучи. Итальянские метеорологи провели эксперимент и доказали, что артиллерийская борьба с природой не эффективна.

Маша попробовала губами слово «не эффективна». Вкус удивил ее.

Так они шли по тропинке вдоль осенних промоин и затопленных рвов. Свистел кулик, голосила водяная курочка. Топчиев болтал, произнося вслух все, что взбрело в голову, и чувствовал себя до странности комфортно рядом с немой девчонкой.

В отличие от братьев он порицал оплаченную любовь и считал, что половое общение тогда не будет безнравственным, когда явится следствием духовного сродства индивидов противоположного пола. В браке – верил он – половая эмоция разряжается рефлекторно.

Была тысячу лет тому назад Верочка Гречихина, ошеломляюще красивая дядина свояченица. Она работала в нотном магазине «Северная лира» на Владимирском проспекте, музицировала на венской цитре и благоухала ванилью. После ее визитов к дяде подросток Топчиев не знал, куда себя деть, мычал в подушку или грыз яблоки до крови.

Дядя поведал весточкой, что Вера замужем за морским офицером...

Тропинка расщепилась; в рогатине чавкало лягушками озерцо с фиолетовыми латками водорослей. По листьям кувшинок грациозно порхали насекомые. Мерно жужжал камыш. Топчиев откашлялся и процитировал из Якова Полонского:

Вечера настали мглистые —
Отсырели камни мшистые;
И не цветиками розовыми,
Не листочками березовыми,
Не черемухой в ночном пару,
Пахнет, веет во сыром бору —
Веет тучами сгустившимися,
Пахнет липами – свалившимися.

Спутница поежилась в платке, выпростала руку на юг.

За зелеными кочками Топчиев различил черепичную крышу, декоративную надстройку, рожки дымоходов.

– Дальше не пойдете?

«Нет, – ответили голубые глаза. – Конечно, нет».

– Что же, спасибо за прогулку. И приходите ко мне на урок. Уверю, вам понравится.

Он зашлепал по сочащейся влагой земле. Подошвы съезжали, колея норовила сбросить в топь. Оглянувшись: Маши и след простыл.

Топчиев вздохнул. Он был солидарен со своим великим современником Львом Николаевичем Толстым, писавшим, что женщина – главный камень преткновения в деятельности человека и помеха в его труде.

– И как там у Пушкина, – пробормотал Родион. – «Ты царь – живи один... дорогою своей иди, куда влечет тебя свободный ум».

Ум влек его к притаившемуся среди торфяников зданию.
Отторгнув Пушкина, вернулся Полонский:

Тишина пугает шорохом...
Только там, за речкой тинистой,
Что-то злое и порывистое
С гулом по лесу промчалось,
Словно смерти испугалось...

Злое и порывистое трепало траву и ветви сосенок, которые росли из воды, проклевав пленку тины. Оплыли рвы, мертворожденные пруды оккупировала трясина. Скрылись в болоте садки для разведения рыбы. Не будет вальсов и праздных гостей, поджарых борзых. Помещик не постреляет бекасов и уток.

Царившее запустение сообщало мыслям мрачность.

Что со мной!.. Чего спасительного
Или хоть бы утешительного
Ожидать от лесу темного,
В сон и холод погруженного?

Родион перебежал на условную сушу по шатким мосткам.

Деревянный дом с зубчатыми фронтонами стоял, подтачиваемый топью. Выкрашенная в охристо-желтый штукатурка маскировала обшивку. Высокие, без наличников арочные окна были врублены в стены. Фасад расчленен на горизонтальные полосы поэтажными тягами. Как стервятники, расхрабившись, медленно крадутся к умирающему, подползало болото.

А что он надеялся здесь увидеть? Сложенные у порога бесхозные фонари с оптическим театром в подарок?

Топчиев двинулся к колодцу под прохудившимся навесом. Лужи хлюпали и засасывали ступни. Померещилось, что из флигеля кто-то пристально наблюдает за ним...

«Ничего не жди хорошего», – каркал Яков Полонский. В оригинале угроза адресовалась сопернику лирического героя, но Родион ощутил озноб и поморщился.

Бревенчатый оголовек колодца тонул в лишайнике. Стенки шахты слишком блестели.

Топчиев ухватился за рукоять, поднатужился. Скрипнул вал, ржавые шайбы, звякнула цепь. Ведро родилось из мрака, оплескало студеным.

– И впрямь желтая, – хмыкнул учитель и понюхал воду.

Что-то толкнуло в бок. Ведро ухнуло на дно колодца, грохоча о каменные стенки, размазывая цепь.

– Маша?

Побледневшая девушка смотрела на него взволнованно, точно желала предупредить.

– Молодец, девка, – раздался сиплый голос.

Топчиев воззрился на коренастого мужчину, идущего к ним по конному двору. У мужчины были длинные черные космы и хилые усы под орлиным носом. Грязь въелась в поры, измарала походную чугу.

Мужчина держал в руках заступ, из-за пояса торчал нож. Рот щерился недоброй усмешкой.

«Там, – говорила Авдотья Николаевна, – конюх Шипинин за порядком следит. Сумасшедший он».

У Топчиева запершило в горле. Был бы один – дернул бы через торфяник, но Маша, прильнувшая к нему дрожащим телом, ищущая защиты, побуждала к поступкам иного рода.

– Простите за вторжение, – произнес он. – Я Топчиев, Родион Васильевич, учитель из Елесков. А это...

– Ваньки Хромова дочка, – закончил за него мужчина. – И я в Елесках раньше жил. А нынче тут вот. Яшкой меня кличут, таким манером.

Он врезал черенок лопаты в почву.

– Сразу ясно, что вы, голубчик, не здешний. Иначе стереглись бы бесовской водицы, как деревенские стерегутся. Из колодца помещичьего пить нельзя. Черти поселятся. Кликушей станешь. Вода желтая, потому что слюна в ней. Машка-то вас таким манером уберегла.

Маша чиркнула подбородком по грудной клетке Топчиева. За двадцать два года ни одна девушка не была к нему настолько близка телесно. У Родиона Васильевича запершило पुще прежнего.

– Ладно, – сказал он, слегка отступая. – Я, Яков, с вашего позволения, сюда еще заскочу, наберу воды для научного эксперимента.

– Милости просим, – осклабился Шипинин и поинтересовался у девушки: – А что, и ты, Машка, уходишь? Жаль, я бы тебя чаем угостил с медом паучьим. Таким манером. Ну нет – так нет. Зимой придешь, куда денешься.

И он засмеялся надтреснутым смехом.

Возле озера Топчиев сказал помрачневшей и замкнувшейся Маше:

– Я, Мария, у дядюшки микроскоп запросил. Это прибор такой. С ним видно все, что в воде обитает. Любая мелочь в стократном увеличении. Вот и поглядим, как немцы говорят, где собака зарыта. Слюна воду желтит или танин и гумусовая кислота. Мы с вами, Мария, наукой чертей истребим.

Он показал болоту компактный свой кулачок, а Маша робко улыбнулась.

«*Repetitio est mater studiorum*», – твердили преподаватели, перекладывая свои обязанности в неподъемный мешок домашних заданий. Бессвязные учебники вгоняли в тоску. Скучные лекции усыпляли почище морфия. Уже тогда Топчиев усвоил: не вдолбить знания, а привить к ним страсть – основная задача учителя. И на тернистом пути не обойтись без опытов и наглядных пособий.

Сельская детвора души не чаяла в Родионе Васильевиче. Изголодавшиеся умы ловили каждое его слово, за право первым посмотреть иллюстрацию дрались братья Прохоровы, туалетрон с кланяющимся цирковым медведем вызывал бурные аплодисменты (заглядывающий на уроки пропойца Игнатов крестился и подозревал Топчиева в ворожбе).

Но властителем детских фантазий был, безусловно, волшебный фонарь. Ученики вытягивались во фронт, столбенели, а Родион вставлял в фонарь стекло с собственноручными рисунками или родной литографией, запаливал горелку, регулировал объектив. Под дружный выдох на стене появлялась картинка. Африканские слоны, чудо-юдо-киты, восьминоги, небоскребы Нью-Йорка.

Приходила в школу и Маша, праздничная, чарая. В приталенной самотканой кофточке или ситцевом сарафане, с ниткой янтаря на белой шее, с золотыми лентами в волосах.

Однажды приключился конфуз: учитель вещал о жителях морских бездн, и краб гома-лохуния вдруг покинул надлежащий ему квадрат. Кожух фонаря фыркнул паром, вода в конденсаторе закипела, запузырилась. Топчиев дотронулся до заслонки и ойкнул: металл обжег кожу. Маша оказалась подле него, встревоженная, готовая дуть на пальцы.

– Я в порядке, – сказал он. – Глицерину добавим, кипеть не будет! Да, мужики?

– Да! – загомонили девочки и мальчики.

Ночами ему снилось, что из Парижа, от самого месье Барду, в Елески доставили астрономическую трубу...

Но и без труб – с фонариками, заклеенными красной папиросной бумагой, он водил детей к холму изучать потоки метеоритов созвездия Андромеды и Геминиды.

Стряпня Авдотьи Николаевны была простой, но сытной и обильной. На сливухе из сала и проса, на забеленных молоком щях и хлебе Родион Васильевич располнел.

В конце ноября, зайдя к хозяйке, услышал из хаты ее голос:

– Тридцатая, тридцать пятая... сороковая.

– Сорок штук, таким манером, – вторил ей хрипло мужчина.

– Забирай и катись к своим лешакам да болотницам, – серчала Авдотья Николаевна. – Избу мне провонял.

– А в избе-то ты, голубушка, за чьи деньги красоту навела? Ходики вон купила, не на полатах с соломой спишь, а на кровати, как городская. Чай, меня, зловонного лешака, благодарить надобно.

– Деньги не твои! Помещичьи деньги.

– А что, – насмеялся мужчина, – помещик их тебе сам таким манером ссудил? Или ты под иконами ворованное у меня берешь?

– Дурак помещик, нанял лису курятник охранять.

– А ты жалуйся. Губернатору письма пиши. Императору вдругорядь. Ты же грамотная.

– Все, черт тебе кишки выпусти! Иди, иди отседова!

Родион схоронился за тыном и смотрел, как из дома выходит Шипинин. Под мышками конюх нес рулоны белой материи, быстро пачкающейся о его грязную чугу.

По вечерам они с Машей сидели на школьных ступеньках. Дико было вспоминать Верочку Гречихину с ее жареными каштанами и французским прононсом. Верочка сейчас в Консерватории вкушает Шестую симфонию Чайковского в интерпретации Артура Никиша, а Топчиев на краю света, и Маша слушает его, затаив дыхание.

– Недавно, – говорил Родион, – знаменитый профессор Пикеринг произвел настоящий фурор в селенографии. Он доказал, что Гавайские вулканы похожи на лунные кратеры как близнецы. На примере Гавайев он предположил, что скалы Луны сформировались в процессе извержения лавы. И вон те ложбинки – это следы эрозии, а гребни – боковые морены. А пятна... ну, есть гипотеза, что это лунные леса, но лично я сомневаюсь...

Зимой 1907 года в Москве помощник придворного кинооператора эльзасец Жозеф-Луи Мундвиллер Жорж Мейер снимал заснеженные улицы, осетров и грибочки на рынке, городского у Царь-пушки, симпатичных лыжниц и таратайки с почтенной публикой. А в семистах верстах Родион Васильевич Топчиев вмерз в лежанку и боялся сдвинуться с кое-как нагретого пятачка. Печь цедила нещедрое тепло, уплетала дровишки. Предстояло идти в метель за порцией топлива. Попытки сосредоточиться на чтении «Минералогии и геологии» Пабста и Зипперта не имели успеха, дремота брала верх.

Когда в дверь заколотили, Топчиев подумал сонно: «Игнатов водочку кланчить пришли».

Он поплелся через комнату, кутаясь в овчинный тулуп, отпер, и сон выветрился.

– Иван?

Хромов грубо отпихнул учителя.

– Где она?

– Маша? Я не видел ее сегодня.

– Врешь! – крестьянин хлестнул горячечным взглядом.

В эту секунду гулкое эхо взрыва достигло деревни, задребезжало медью. Точно черти похитили у архангела трубу и баловались с ней. Всполошились лесные птицы, взвыли цепные псы, и что-то еще взвыло в метельной мгле, в безлунной ночи. Скоро перекрестилась Авдотья Николаевна, не она ли продала безумному Шипинину серу и порох для дьявольского набата? Братья Прохоровы проснулись на печи, им почудилось, что кто-то скребет по крыше когтями. Пьяница Игнатов рухнул около курятника и больше не вставал: к полуночи его зрачки затянул лед и снег набился в глотку. Далеко от Елесков, в Ревеле, помещик Ростовцев выронил бокал с шампанским и устался в окно – там бесновались, царапались туманные призраки его грехов.

– Пушка старого Ростовцева, – прошептал Иван и обмяк.

«Зимой придешь», – сказал конюх Маше, словно была между ними тайна, сговор.

– Эй вы? – Топчиев тряхнул Хромова. – Что случилось в поместье шесть лет назад?

Крестьянин с трудом сфокусировал взгляд на учителе.

– Мы грязь таскали, – произнес он отрывисто. – Я, Степан, земля ему пухом, и Яшка. Степан заступ в кочку воткнул, а кочка лопнула, в ней газ был. Степан наглотался, раскашлялся. Мы – к нему.

Шепот крестьянина путался в бороде, незримая ноша гнула хребет.

– В кочке лежало существо. Мертвое, мы решили. Вроде женщины, но ростком с аршин.

Шкура черная, дубленая, руки скрючены. Нечестивые мощи...

«Торфяная мумия», – подумал Топчиев, но перебивать Хромова не стал.

– Яшка, как бес вселился, обнял болотницу – и давай хороводить. Кричит, был бобылем, а тут невесту Леший подсунил. И вижу я дочку, идет к нам по тропке. А болотница... она глаза открыла. Клянусь, зенки свои белые открыла и посмотрела на Машу. Доченька моя сознания лишилась, и речи тоже. Степка умер. А Шипинин... он на болотной девке помешался. Городит, что у нее в услужении, что оживет она и будет властвовать лесами и болотами, а он при ней женихом. Ростовцева запугал, выжил из усадьбы. И про Машеньку говорил...

– Что? – воскликнул Топчиев. – Что говорил?

– Что приглянулась Маша болотнице. И рано или поздно болотница ее позовет...

– Позовет, значит!

Родион обувался в валенки. Мышцы деревенели от злости и страха за девушку, но сердце стучало ровно. Дед его с таким стуком на османов шел.

– За мной, – приказал коротко. Хромов повиновался.

Вьюга слепила, опаляла, белой великаншей бродила за кривым частоколом леса. Деревья ломались и падали в топь. Юркие тени плясали на парубке, словно анчутки; болотницы, роговые и прочие отпрыски Одноглазого Лиха кутили, разбуженные залпом.

Из-за мельтешения снежной крупы казалось, что усадьба ворочается в темноте. Окно слева от портика горело зыбким болотным огоньком.

– В гости таким манером пожаловали? – справился черный силуэт у цокольной аркады.

– Где она? – выкрикнул Хромов и взвесил прихваченный по дороге топорик. – Где Маша, гад?

– Эх, Иван-Иван, – укорил Шипинин. – На друга бранишься.

Он усмехнулся хищно.

– Гостей нынче будет пруд пруди. Я таким манером знак подал, пригласил. Владычица нынче рождается.

– Прекратите! – вступил в разговор Родион. Он торопился, внутренне опасаясь, что безумие конюха может быть заразительным. Тени лезли из колодца, ползали по фасаду усадьбы... – Где Маша?

– В покоях помещичьих, – лукаво ответил Шипинин. – Короновать ее, голубушку, будут.

– О чем вы, черт вас дерит?

– Ну как же? Марья Ивановна мамой сегодня станет. Кукушка, как откопали мы ее, Машу приглядела. Яйцо ей дала – высиживай. Яйцо во рту носится, оттого молчала она. Шесть годков таким манером на высиживание ушло. Я пока гнездо устраивал, как велела Владычица.

– Довольно, – отрубил Родион и ринулся к дверям усадьбы. Хромов не отставал.

– Галопом, лошадки! – хохотал безумец.

Массивные двери распахнулись под напором. Мужчины не сразу поняли, что видят. Все пространство до широкой лестницы занимали простыни. Они висели на бельевых веревках и образовывали подобие лабиринта. Паутина бечевки оплела каминную залу, спускались с балок перекрытий веревочные струны, и на них поодиночке и гроздьями болтались волшебные

фонари. Иные стояли на стульях в секциях лабиринта, десятки фонариков. Промозглый, пахнущий гнилью сквозняк колыхал ткань, раскачивал фантаскопы. В закутах усадьбы перешептывалась тьма. Слабый, мерцающий свет струился со второго этажа, и Топчиев устремился к нему напролом сквозь податливые стенки лабиринта, цепляя фонари и ныряя под белье. Ткань влажно трогала лицо.

Он преодолел преграды, взбежал по лестнице. К светящемуся дверному проему, к тошнотворному запаху разложения и могилы.

Комната была просторной, но вдвое сузилась с тех пор, как отшельник свил здесь гнездо. Слой грязи покрывал стены, пол, потолок. Годами свозил сюда конюх болотную землю. Мебель, вмурованная в бурую толщу, канделябры, утонувшие в сводах норы. Комната чавкала и капала комьями тины. Стены шевелились отслаивающимися ломтями грязи, извивающимися червями, корешками.

Свечные язычки походили на болотных духов; свечи-монашки и толстые огарки из ребячьего сала были натканы по периметру норы. А в центре, сгорбившаяся, спиной к мужчинам, восседала девушка с куклой в руках.

Топчиев смотрел ошарашенно на позвонки под нежной кожей, лопатки, ямочки на поясице и темнеющую меж ягодиц впадину.

Машенька, абсолютно голая, незащищенная, в этом зловещем логове.

Он шагнул к ней и застыл.

Не куклу, а мумию сжимала девушка бережно, как младенца. Высохший до трухи черный трупик. Низко склонившись, она касалась рдяными губами уродливой обезьяньей морды, целовала... нет! Ела, причащалась, обглаживала тлен и с аппетитом прожевывала.

Глухо вскрикнул Хромов, обронил топор.

Полусъеденная мумия шлепнулась в месиво. Маша начала разгибаться, одновременно поворачиваясь к гостям. Она поднималась выше и выше, будто была на ходулях, и уперлась в потолок рогами. Витые рожки росли под волосами и стелились над черепом к затылку. Ничуть не смущаясь, она предстала перед мужчинами. Руки разведены, и тело окутано молочной дымкой. Затуманенный взор Родиона скользнул по маленьким грудкам, хрупким ребрам, округлому девичьему животу и выпуклой кости лобка. Куда непристойнее наготы были ноги ее, ниже колен превращающиеся в мясистые лапы, попирающие хлябь раздвоенными копытами.

Завизжав истошно, бросился прочь отец. Визг растормошил Топчиева, он вылетел из норы, на лестницу, подальше от этого существа.

В каминной зале сами по себе зажигались ацетиленовые лампы, булькала желтая колодезная вода в конденсаторах. Лучи волшебных фонарей скрестились шпагами, перечертили усадьбу. На трепещущих простынях появлялись фигуры гостей, чудовищные формы из переплетенных веток, крылатые и хвостатые.

Ничего не замечая, Хромов неся в гущу тварей, и они потянулись к нему корневищами, сучьями клыков. Облепили тканью. Предсмертный вопль угас в скрежете челюстей, кровь обогрела белье.

Лучи металась по комнате в поисках жертвы, тени барахтались у подножия лестницы. Цоканье копыт заставило Топчиева повернуться.

Онемевший от ужаса, он встречал свою судьбу.

Владычица приближалась, наплывали ее огромные лютые глаза, две серебрящиеся луны, кратеры и морены. Затмевали рассудок.

С зоологической покорностью ждал Родион, и Владычица произнесла:

– Здравствуй, жених.

...Когда метель утихла, сельчане наведались в поместье, где и обнаружили двух мертвецов. Иван Хромов находился в водосборнике старого колодца, а расчлененным трупом конюха Яшки Шипинина настигивали раструб мортиры. Славно поработали разбойники-душегубы.

Пропавших Марию Хромову и Родиона Топчиева так и не нашли. Кто в болотах сгинул – сгинул навек. На место прежнего смотрителя помещик письмом уполномочил супружескую пару из приезжих, но их никто никогда не видел.

Нового учителя прислали спустя двенадцать лет, после принятия Советом народных комиссаров декрета «О ликвидации безграмотности». К тому моменту детей в Елесках не осталось вовсе.

На голодную кутью Авдотья Николаевна закопала фонарь Топчиева в навоз: нечего.

Малые боги

Потому, что они не умерли, малые боги.

Тундра размыкается в арктические пустыни – это их мир. Над таежными топями клубится ядовитый туман – их дыхание. И в потаенных пещерах уральских гор, и в заброшенных скитах, и на древних могильниках – там их следы.

Не сбейся с дороги, не оглядывайся на свист, упаси тебя бог от болотных колоколов.

Из поросших лишайником рвов воют кутыси, и младенцы покрывались бы нарывами и язвами, услышь они кутысий вой, но дети не родятся в мертвых деревнях, нет больше детей, – кряхтит слепая старуха, бросая в ров крупу и петушиные перья. Жалобно-жалобно воют кутыси, и гниют на святилищах идолы и навсегда теперь не кормленные кули.

Прошмыгнет за соснами смутная тень. Хрустнет ветка, закричит козодой.

Внуки слепой старухи забыли, и старуха забудет, замертво упадет в сених.

Но кто-то помнит еще. И ночью врач линтинской инфекционной больницы зайдет в палату к тяжелобольной девочке, поговорит с ее матерью, а потом прочитает, поглаживая горячий лоб, молитву на языке коми. И мать не удивится, увидев, как изо рта ее дочери выползает жирная белесая мокрица – шева, воплощение порчи. Врач унесет шеву в платке, сожжет на заднем дворе, а утром девочка проснется абсолютно здоровой, потому что надо помнить, особенно здесь, на окраине мира.

«Чудо, – думает Илья Марьичев, сходя по трапу на провинциальный аэродром, – чудо, что железяка не взорвалась в полете».

Он городской, ему забывать нечего. У него мягкая улыбка и ямочки на щеках, и искры, когда он смотрит на Ксюшу исподтишка, и странный рисунок в рюкзаке.

Ксюша Терехова благодарит самолетик хлопыванием по фюзеляжу, Илью умиляет эта ее привычка относиться с почтением к неодушевленным предметам.

Теплый ветерок ерошит волосы. Солнце палит с небес, незнакомых, будто не на самолете прибыли, а на космическом корабле: чужая планета.

– Это точно Север?

– Точнее некуда, – спутница проворно закидывает за спину огромный рюкзак.

Он намеревается пошутить про глобальное потепление, но Терехова уже бежит к остановке, к автобусу, который, должно быть, откопали вместе с доисторическими окаменелостями ихтиозавров. Очистили от земли и поставили на маршрут. Или нет, не очищали.

– В Линту доедем?

– Долетим! – заверяет шофер.

Ползет по трассе кашляющий «лазик». Соприкасаются нагретые плечи друзей.

Четыре июньских дня впереди. Три июньские ночи.

Как лесников начинает водить вокруг таинственных ям, вырытых белоглазой чудью, так седьмой год водит Марьичева вокруг Тереховой. Как и в семнадцать лет, все внутри замирает, он ловит ее запах, когда она перегибается через него, чтобы сфотографировать статую на въезде.

Олень, оседлавший толстенные буквы «ЛИНТА», безвкусно присобаченная к композиции вагонетка.

В советском прошлом оставил городок времена рабочей славы. С тридцать первого года – поселок городского типа. С пятьдесят первого – город республиканского значения. С девяносто первого – скопление полупустых пятиэтажек среди болот. Некому устраивать шумные соревнования в честь Дня шахтера: из шести градообразующих предприятий выжило полтора. Сокращается численность населения. Молодежь переселяется в Москву, Ханты-Мансийск, Красноярск, в Тюмень, на местное кладбище около птицефабрики.

Грохочет за обшарпанной поликлиникой груженный углем состав.

Дом культуры «Октябрь» в центре города, магазин «Космос», кафе. Обязательный Ильич – он указывает кепкой на кассы «Аэрофлота». В стороне – скромный памятник члену Русского географического общества, открывшему здесь залежи энергетических углей.

– «Макдоналдса» в Линте, я так полагаю, нет.

– И слава богу, – кривится Терехова и покупает в гастрономе пирожки с печенью. Жир пропитал желтые странички линтинской прессы. Добыча торфа, пишут, скоро прекратится совсем.

– Витаминки, – смеется Илья.

Прохлада краеведческого музея – как бальзам на душу. С директором они созванивались заранее. Мушта Булат Якович старше своего голоса лет на десять. Он похож на Друзя из «Что? Где? Когда?». Охает, выразительно жестикулируя:

– На край света летели! Дорогие вы мои!

Узнав, что Терехова работает на кафедре географического факультета, приходит в неописуемый восторг. Илье нечем похвастаться: после университета он безуспешно пытается продвинуть свой, связанный с красками, бизнес.

– Мы еще не выбирались так далеко, – рассказывает Ксюша, – но на болотах были. В Ленинградской области, правда... Исследовали дольмены.

Никакие не дольмены – змеев они искали, летающих. Потерпели фиаско, хотя каждый попадавшийся им пьяница встречался с воздухоплавающими рептилиями лично. Один даже шрамы демонстрировал. Краеведу лучше про это не знать.

Илье наплевать: дольмены ли, динозавров или чупакабру. Он поглядывает на Ксюшу. Из забавной девчонки с взъерошенной прической она превратилась в красивую молодую женщину, и волосы спускаются на ее плечи медной волной.

И ведь четыре года назад на границе с Финляндией он нашел то, зачем ездил. Нашел и потерял...

Мушта видел отсканированный рисунок, но не отказывает в удовольствии рассмотреть оригинал.

– Мой прадед, – говорит Илья, – был художником. В пятидесятых рисовал для журнала «Юный натуралист», а в шестьдесят втором иллюстрировал книгу «Обско-угорский фольклор».

– Издательство «Детгиз», – кивает Мушта, – К. А. Раймут.

– Да, и рисунок прадед нарисовал во время путешествия по тайге со своим товарищем, писателем Константином Раймутом. Рисунок хранился в нашем семейном архиве.

– Фантастика, – шепчет директор.

На ватманском листе запечатлен частокол из идолов: девять узких высоких фигур, до черноты заштрихованных карандашом. Они, вероятно, вырезаны из цельных кусков дерева. На черных фигурах-бревнах светлеют фрагменты лиц: глубокие глазницы, прямоугольные носы, сливающиеся с надбровными дугами. Рты идолов тонут в нервных карандашных завитках, но Илье всегда казалось, что они усмеваются.

Директор стучит ногтем по строению, нарисованному за спинами статуй, – домику без окон, который установлен на двух опорах.

– На мансийском языке это называется «сумьях». Ритуальный амбарчик для приношений. Раньше сумьяхов было много, а нынче можно по пальцам пересчитать. Здешные зимы не щадят дерево. Странно, что эта иллюстрация не вошла в книгу. Знаете, кому посвящено капище?

Гугл-поиск неплохо разбирается в мифологии северных народов, но гости Линты вежливо качают головами. Профессор подтверждает мнение «Гугла»:

– Видите, как скульптор заострил макушки идолов? Так изображали менквов – лесных людоедов. В религии манси менквы олицетворяли все самое злобное и враждебное человеку. Не то богатыри, не то призраки погибших в лесу людей. В более архаичных сюжетах менквы – гиганты, вытесанные верховным божеством из ствола лиственницы. Святилище менквов – редкость...

Он переворачивает лист и читает надпись на обороте:

– Линтинский округ, район Большой...

– Вы знаете, где это?

– Такого района у нас нет, – произносит директор задумчиво, – зато есть река Большая Линта. Ее наверняка и имел в виду ваш прадед.

Ксюша и Илья переглядываются.

– Вопрос в том, сохранилось ли капище. Полвека прошло. А дерево... да что дерево! Я в перестройку искал камень... С камнями в тайге проблема, но ханты их умели находить каким-то секретным способом. Священный камень, кусок ледниковой морены. Старики помнили, где он стоял, трехметровый красавец. Стоял, никого не трогал, пока его депутат из Сургута не выкорчевал. Зачем? Чтоб на даче у себя поставить. Так что...

Булат Якович отлучается позвонить, и молодые люди бродят по музею. Экспонаты объединяет тема таежного Средневековья. Бронзовые бляхи, наконечники стрел, свинцовая (ой, какая хорошенькая) голова выдры. Шаманские фетиши селькупов.

Из ниши за посетителями наблюдает старец-филин Йиба-ойки. Клювоносый старик мог бы поведать о другой паре исследователей, юных и мечтательных. Тот мальчик тоже был влюблен в девочку, и они тоже отправились к болотам и никогда никуда не пришли.

В разрытом могильнике на картинке гряда скелетов. Стрелы застряли в ребрах. Затылки проломлены.

Илья ежится, представляя, как несчастных сбрасывали с уступа, как воины по приказу шамана натягивали тетивы луков, и наконечники впивались в плоть. Жертвоприношения кровавым богам тайги...

На следующей картинке обряд скальпирования: хантыйский богатырь лишает своего ненецкого соперника кос, в которых, согласно верованию, обитает человеческая душа.

– Ну и мрази были эти богатыри, – бормочет Илья.

Краевед возвращается с картой. Показывает Линту – не то чтобы большую, но длинную и верткую. Деревни – неизвестно, живет ли в них кто сейчас. А на том холме молодой Мушта раскопки вел: мансийское городище – Тарума.

Увлеченная Ксюша пихает Илью в бок. словно они студенты и едут на поиски летающих змеев.

Он поделился с ней иллюстрацией на втором курсе, и она сказала тогда: сгонять бы в эту Линту. Обсудили и забыли. А в мае Илья наткнулся на рисунок прадеда. Вспомнил, да так, что слезы из глаз. И вскоре списался с одноклассником:

«Как там Ксюха?

Слышал, рассталась со своим...»

Полчаса он правил сообщение, подбирая слова. Послал в итоге, кусая ногти: «Предложение идиотское, но не хочешь ли ты со мной на Север искать дедушкиных идолов?»

«Поехали», – написала она в ответ.

– Поехали! – говорит Эрик Мушта. Внук директора стройный и белогривый, загорелый для сибиряка. Нет, в истории он профан. Он по части рыбалки и футбола. Посадил Ксюшу рядом с собой, а Илья ерзает сзади. Не нравится ему, как хихикает Ксюша над плоскими шутками линтинца, вопросы не нравятся: «А ты, Ильяха, в армии служил? А че не служил-то?»

Марьичев стискивает кулаки.

Ильяха...

За окнами мелькают одинаковые пятиэтажки, склады, гаражи. Остановка «Пожарка», остановка «Поселок». Коптящие трубы котельной. Стела героев войны.

«Москвич» Мушты-младшего проезжает мост, ручей. Разрушенный кирпичный завод. Линта заканчивается, и, вытесняя цивилизацию, к шоссе устремляется криволесье.

– Мертвый лес, – поясняет Эрик. – Опрыскали как-то с самолетов, чтобы лиственница хвое не мешала. А подействовало на живность. Говорят, тут мутантов полно, как в Чернобыле.

Илья скептически хмыкает.

Эрик рассказывает про рогатую щуку, которую поймал прошлым летом, и обещает скинуть фото, интересуется, в каких социальных сетях есть Ксюша.

– А это торфяники, – кивает в окно.

Некогда мощное предприятие по добыче торфа пришло в запустение. Тянутся вдоль шоссе канавы с грязной водой, змеятся в осоке рельсы узкоколейки. Утка парит над осиротевшим тепловозиком, огрызками мастерских, над электрощитовой подстанцией...

Ксюша фотографирует грейферные погрузчики, вагоны на эстакаде.

Из окошка главной конторы смотрит пожилой директор. Он, директор, в девяносто восьмом году встретил здесь Ягморта: был день зимнего солнцестояния, вот Ягморт и проснулся. Съел всех сторожевых собак, включая Жульку, директорскую любимицу. Директор провожает взглядом «москвич» и думает о том, чтобы сжечь контору вместе с бумагами и с самим собой, ясное дело.

Над верховыми болотами носятся стрекозы.

– Приехали! – объявляет Эрик – Вам на юг, по дорожке. И, кстати, если позвонить хотите, звоните сейчас.

Они благодарят Мушту и машут вслед его машине.

– Не верится, что у Булата Яковича такой неприятный внук, – говорит Илья.

– Да он классный. Видел, какие бицепсы?

Илья фыркает. Ксюша смеется: «Ладно, Марьичев, не ревнуй!»

Она звонит кому-то. Он напрягается, но слышит слово «мама». Трели северных птиц летят через страну посредством сотовой связи. Дальше Сети нет. Молодые люди, подшучивая друг над другом, входят в тайгу.

Они болтают наперебой, вспоминая студенческие годы. Вылазки на природу, преподавателей, развалившуюся – не склеить – компанию. Солнце слепит, ноздри щекошет сладкий удушливый запах. Поросшая багульниковом колея петляет среди болот. Стоячая вода подернута тиной. Колышется, притворяясь дном, бурая взвесь. Из болота торчат хилые сосенки, деформированные березки. Словно мачты затопленных кораблей. Хор лягушек вторит смеху путников.

– А помнишь... а помнишь...

Первая на маршруте деревушка – Ивановка – сравнительно обжита и электрифицирована. Они разделяются: Илья идет в сельмаг, Ксюша – по хатам старожилов. Вдруг кто набредал на капище, собирая клюкву или морошку?

В таежном магазинчике кола и пиво, соль и домашние тапочки. За главного – упитанный кот, разлегшийся на витрине. Глаза изумрудные и умные. Ему ассистирует круглощекая продавщица.

– Из Линты, небось?

– Почти. Вы не в курсе, где-то в ваших краях капище было с изваяниями...

Не в курсе она. НЛО вот, да, видала. Весной.

По телевизору в углу транслируют репортаж про Украину. Илья боится, что это понарошку, всего лишь сон. Сибирь, Ксюша...

Ксюше тоже не повезло, но они не унывают. Ивановка исчезает за поворотом. Впереди кедровый лес, птичьи гнезда на вершинах деревьев, заливные луга. Крутые кочки и серебриющиеся в траве ручейки. Под кедами шуршит одеяло прошлогодней хвои.

Они радуются сиганувшему в кусты зайцу, бирюзовой бабочке, Большой Линте. Противоположный берег реки отвесный, глинистый, а по эту сторону топь и кедровник.

– Эх, с прадедом бы твоим пообщаться...

– Я думаю, из него был так себе собеседник.

– Это почему же?

– У меня в семье не любят его вспоминать. Под конец жизни он стал алкоголиком, причем буйным. Запил вроде из-за самоубийства товарища своего, писателя. Из дурдома не вылезал. Чертей видел.

Ксюша присвистывает:

– Да уж, с творческими людьми такое случается.

Илья не «творческий». Ни рисовать не умеет, ни на гитаре играть, как Витька Панов. Витька с Ксюшей на два голоса пели – заслушаешься. У Ксюши сопрано прекрасное, и стихи она сочиняла, в студенческой газете публиковали.

«Вареники дворов наполнил снежный творог, и вилки фонарей вонзились в их бока»...

– Жаль, – она вздыхает, – Витька с нами не поехал.

Ага, как же, жаль...

Домик они замечают одновременно, и мгновение обоим мерещится, что это и есть тот самый сумьях. Но на залитой солнцем прогалине обосновался простой прицепной фургончик.

Они сходят с колеи.

– Ау, кто в домике живет?

– Леший, наверное.

Илья стучит, открывает дверцы. Взгляд скользит по буржуйке, лопнувшему градуснику, по запятнанному матрасу. На полу батарея пустых бутылок из-под водки, и пахнет мочой и потом.

Ксюша дергает приятеля за рукав. К стене прицепа пришпилены глянцевые квадратики: кто-то вырезал из порножурналов фотографии женских гениталий и слепил в единый безобразный коллаж.

– Ну что, будем Лешего дожидаться?

– Я пас!

Они выскакивают из фургончика, бегут, хохоча.

– Ай да Леший!

– Мохнатеньких уважает!

За быстрыми водами Линты темно-зеленый гребень леса. Берега в осоке и тальнике. Булькает топь. Вздываются пузыри под тиной. Торфяник ждет, когда вернутся его хозяева: кикиморы и хмыри, безглазые болотники.

Тучи гнуса жужжат над покинутым селением. Крылечки барачков утонули в жиже. Проложенная на опорах лежневка провалилась, и приблизиться к поселку невозможно, да и кому вздумается ходить туда?

В окнах темно, точно болотное месиво затопило их изнутри до потолков. Кожей ощущается недобрый взгляд, постороннее присутствие. Умолкает болтовня. Ускоряется шаг.

Гнилая ольха падает в Линту.

Илья смущенно улыбается. Надо говорить громче, шутить чаще, надо освободиться от прилипшей паутины тревоги.

Ксюша обрызгивает себя спреем, растирает шею. Запрокинула голову, отбросила волосы.

– Чего вытаращился, Марьичев?

Глупо как, черт...

Илья отворачивается, краснея. И вздрагивает.

На опушке, которую они миновали пять минут назад, человек. Он стоит на четвереньках, грудью прижавшись к земле, выпятив ягодицы. На нем маска, плоская, деревянная, с длинным носом. И пучок лозы привязан к пояснице веревкой. И больше ничего на нем нет.

– Что за?..

Человек начинает танцевать, энергично взбрыкивая конечностями, вращая хвостом из лозы.

Ксюша издает неуверенный смешок.

Клинышек деревянного носа тычется в землю, движения нелепы, комичны, но Илья чувствует холодок в животе.

– Что он делает?

– По всей вероятности, изображает какого-то зверя. Лису...

Человек, не прерывая своей пляски, удаляется в подлесок.

– Пошли отсюда, – говорит Ксюша.

Они устали, но, не сговариваясь, идут еще полтора часа. Подальше от танцора.

Тропинка засасывает подошвы, нужно перепрыгивать лужи, перелезать через бревна. Корневище рухнувшей березы напоминает морду со щупальцами.

Вечереет. С прохладой являются полчища комаров.

Они разбирают лагерь на пологом берегу Линты. Ксюша, колдующая над котелком, аромат гречневой каши с тушенкой и потрескивание костра. Илья забывает обо всем – городским так легко забывать. Они сидят плеч-о-плеч, наблюдая, как охотится за рыбой скопа. Величественно расправляет крылья и кружит над водной гладью.

А у Тереховой щербинка между зубами и родинка на ключице.

– Как же красиво, – произносит Илья.

В сером ночном небе мириады звезд. Он передает флягу Ксюше. Та отпивает, морщится. Огонь защищает от болотных шорохов, плещется умиротворяюще.

– Почему ты поехала со мной? – спрашивает он, глядя на спутницу сквозь пламя.

– Отпуск же.

– А серьезно?

Она отвечает после паузы.

– У меня были отношения с мужчиной некоторое время. Два года или около того. – Она улыбается печально. – Два года и двадцать шесть дней, если быть точной. Он предал меня. Мне необходимо было уехать.

Илья подсаживается к ней и обнимает за талию.

– Ты настоящий друг, – говорит она, наклоняясь к нему. Он прикрывает веки и трогает губами пустоту. Она целует его в висок.

– Хватит с меня коньяка. Пойду спать.

Он желает ей спокойной ночи и, оставшись в одиночестве, пинает консервную банку.

– Идиот! Дурак чертов!

Цедит последние коньячные капли.

За стенками палатки звенят комары и гудит тайга. Она рассказывает на своем скрипучем языке о старых хозяевах. О еженощном празднике в рогатой избе, за тыном из бедренных и берцовых костей. О людях в форме, что прибыли сюда искать Сорни-Най, Золотую бабу, ползали по брусничной поляне и выцарапывали себе глаза. И о ребятах, отправившихся в горы однажды, о том, как они встретили тонконового старца и больше не жили.

Мерно дышит Ксюша. Илья засыпает, и во сне кто-то ходит на четвереньках по их лагерю.

Они просыпаются с рассветом, завтракают и пьют чай. От растрепанных Ксюшиных волос и детской футболки с Белоснежкой у Ильи щемит сердце. Сколько нежности в нем накопилось за эти годы! А она задумчивая и молчаливая, и время идет, и они идут по песчаной дороге.

Подманивает насекомых плотоядная росянка, в сосновых гривах запутались птичьи голоса. Фото на память возле сруба, по венцы зарывшегося в болотистую почву.

Ксюша ругается, споткнувшись о корягу, и раздраженно чешет комариные укусы. Сбегает в малинник, кричит Илье:

– Тут кладбище!

Болото пожрало погост, гробы, мертвецов. Над торфяником возвышаются кресты и пирамидки со звездами. Ил свисает с надгробия Серафимы Пантелеймоновны Поповой, умершей в 1939 году.

– Деревня близко, – говорит Илья.

Две дюжины хат примостились на краю живописного яра. Сверкает первозданной зеленой луг в заливной пойме, и лесные островки охраняют горизонт, словно косматые великаны. К Ксюше возвращается хорошее настроение, она спешит узнать, обитает ли кто в бревенчатых домиках.

Выясняется, что обитают. Поджарая старуха возится на грядке. Кожа у нее бронзовая, косы белоснежные и толстые. И сарафан красивый, сафьянового цвета, с золотым орнаментом.

– Ого, какая модница, – шепчет Ксюша и окликает женщину:

– Добрый день!

Женщина изучает гостей чуть раскосыми, синими как лед глазами.

– Добрый, – сдержанно говорит она.

Ксюша спрашивает про деревню, про старожил.

– Ворсой деревня зовется, – отвечает женщина. – Так-то три избы заняты, но нынче нет никого, кто в Ивановку ушел, кто рыбачить.

– Вы, бабушка, в тайге давно живете, не знакомо ли вам такое место?

Старуха смотрит на рисунок, но в руки его не берет.

– Нет у нас такого. К Ивановке идите, может, там есть.

– Вы уверены?

Старуха уже уходит в дом, гремит засовом, зашторивает окно.

– Не больно она гостеприимна, – говорит озадаченный Илья.

– Врет она про капище, по-моему, – хмурится Ксюша. – Переживает, что мы увезем статуи.

За Ворсой луга и лесные урочища. С вновь вспыхнувшим энтузиазмом друзья шагают по охотничьей тропинке. На дороге сложенные из бревен мостки. Под досками хлюпают грязь.

Илья замечает чистое озеро, напоминающее глаз с ресницами сосен на дальнем берегу. Уговаривает спутницу искупаться с ним. Безуспешно. Она не взяла с собой купальник.

Как чужая...

Ксюша устроилась на заросшем пушицей склоне. Он стоит по пояс в воде. Таежное солнце ласкает спину.

– Почему мы расстались? – спрашивает внезапно.

Она поводит плечами:

– Работа, семья... У Лены дети. Я переехала. Витька...

– Да нет. Мы с тобой почему расстались?

Она вскидывает брови удивленно:

– Так мы и не встречались.

– А тогда, в походе?

– Ну, это вообще-то по-другому называется, – говорит она. – И было всего пару раз.

«Четыре раза», – думает он, ныряет в воды лесного озера и зажмуривается.

Сверившись с картой, они делают крюк. Древнее мансийское городище Тарума расположилось на холме. Под густой травой угадываются оплывшие насыпи и полузасыпанные рвы. Ямы землянок. Крапива.

– Привал, – говорят они в унисон. Садятся, скрестив ноги.

Мышцы ноют от рюкзаков. Тишина пульсирует, давит на уши.

Птицы не поют над Тарумой, и путники молчат, что-то такое понимая интуитивно. Илья улыбается вяло, когда Ксюша кладет голову ему на колени. Она сразу засыпает, а он успевает сказать, что скучал по ней. И погружается в сон.

Ему снится пожилой мужчина с колючим взглядом из-под очков.

– Дальше не ходи, – говорит мужчина. – Если увидишь их, никогда не будешь прежним.

– Марьичев!

Он просыпается рывком, едва не соскальзывает в ров.

– Господи, мы спали три часа!

Ксюша мрачна и не на шутку встревожена.

– На вершине холма стоял человек.

– Где? – напрягается Илья.

– За тем валом. Я проснулась, а он стоял там.

– Как он выглядел?

– У него была крупная голова. Очень крупная.

– Крупная голова? Тебе это не приснилось?

– Мне здесь не нравится, – она подхватывает рюкзак.

– Хочешь, я проверю?

– Нет! Давай идти, наверстаем упущенное время.

Он успокаивает ее по дороге: «Всего-то рыбак из Ворсы». Он размышляет о прицепе с извращенным коллажем и о танце на опушке.

Русло Линты запружено осклизлыми утопленниками-бревнами. Река течет под топляком. Бревна трутся со скрежетом, ветви и корни переплетены узлами.

Угрюмая Ксюша отмахивается от слепней.

Тропинка оборвалась в болоте. Деревья вокруг чахлые и тонкие как спички. Не оправились после давнего пожара. Корявые стволы обросли лишайником. Верхушки засохли. За уродливыми кронами мелькает тусклое солнце, постепенно снижающееся к торфяникам.

Над гиблым болотом стелется дымка.

– Спой что-нибудь, – предлагает Илья.

– Что за глупости, – говорит она.

Но поет – пытается петь. Песенка из кинофильма «Москва слезам не верит» неуместна в тайге и только привлекает взоры из зарослей.

– Без гитары не получается. Вот бы Витьку сюда. Обидно, что он не смог поехать.

– Я его не приглашал.

– Нет? Но ты же сказал...

– Я соврал. Я хотел провести выходные с тобой.

– Мне приятно, но...

Она подавлена. Она подыскивает слова.

– Ильяш, мне жаль, если я ввела тебя в заблуждение. Ты мой друг, самый лучший. Но сейчас у меня не тот период, чтобы...

Он останавливается, касается ее запястья:

– Тот. Ты просто еще не поняла. Я буду рядом всегда. Я не предаю тебя. Я...

– Илья...

– Я люблю тебя.

Она отнимает руку и пятится. Смотрит поверх его плеча ошарашенно.

– Скажи, что это не галлюцинация.

Девять идолов врыто в землю буквой «С», так же как на рисунке прадеда. У зубчатой стены леса стоит насаженный на полутораметровые опоры-пни амбар. Точь-в-точь избушка на

курих ножках, без окон, но с дверями. Доступ к поляне преграждает болото, и они прыгают с кочки на кочку.

Таким капище являлось во снах художнику Марьичеву, закончившему жизнь в психиатрической больнице святого Николая Чудотворца.

И писателю Раймуту, глотающему выхлопной газ, оно пригрезилось таким же.

Вытянутые восьмигранными пирамидами макушки изваяний. Черные от копоти полуистлевшие тулова.

И не усмешку спрятал прадед в карандашных черточках, а оскал. Подковы ртов с вырубленными клыками. Свирепые морды древних богов.

– Фантастика, – шепчет Ксюша.

– Мы это сделали! – торжествует Илья.

Они кружатся по поляне, не обращая внимания на сгущающиеся сумерки, на силуэт у пихты.

Горельник шуршит когтистыми ветками.

Фото вспышка озаряет статуи. Жуков, копошащихся в лунках глазниц.

Илья просит духов тайги: «Если вы существуете, помогите мне вернуть эту девочку, а я буду любить ее и оберегать».

Ксюша возбужденно щелкает фотоаппаратом.

– А меня сфоткаешь? – спрашивает незнакомец, выходя из-за сумьяха.

Бритый под ноль коренастый мужчина в камуфляжных штанах. Рубашка расстегнута, на шее болтается маска с длинным носом. Желудок Ильи болезненно сжимается. Он узнает танцора.

– Вот это местечко, – Лысый с любопытством рассматривает святилище. – Ну и забрались же вы, ребята. Погоняли меня по болотам.

Илья заслоняет собой Ксюшу.

– Кто вы?

– Да не трусь, пацан. Из Линты я. Учитель, прикинь? Труды в школе веду. А это ученичок мой бывший. Ходь к нам, ученичок.

От пихты отслаивается тень, и бледная Ксюша вскрикивает.

У второго незнакомца голова филина. Перья и деревянный клюв грубо приклеены к вересковой плашке.

– Что вам надо? – голос Ильи дрожит.

Лысый подходит к нему вразвалку. Улыбается приветливо.

– Вы у меня вчера в летней резиденции были, смекаете? Старенький такой фургончик. Кабы предупредили, что зайдете, прибрался бы.

– Мы у вас ничего не крали, – говорит Ксюша.

– А я вас ни в чем не обвиняю, – добродушно парирует Лысый, – я, наоборот, отдать вам кое-что хочу.

– Что? – спрашивает Илья.

– Да вот, – кладет Лысый выкидным ножом, – держи, братуха.

Илья набирает воздух в легкие, чтобы закричать: «Беги».

Тяжелая пятерня стискивает его горло, а пятнадцатисантиметровое лезвие пронзает грудь. Губы окрашиваются алым.

«Прости меня», – думает он.

И мертвый падает в траву.

Лысый деловито вытирает лезвие о футболку Ильи. Ухмыляется Ксюше:

– Да не расстраивайся ты из-за этого дохлика. У тебя теперь настоящие мужики есть. Верно я говорю, Эрик?

– Верно, – отвечает младший Мушта, снимая маску.

Ксюша осознает, что произошло. Илья погиб. Она одна, и неизвестно, сколько убитых маньяками туристов покоится на илистом дне. Она отступает. Стаскивает рюкзак.

Сухие глаза сверлят мужчин с ненавистью.

– Сама разденешься или побегаем сперва? – интересуется Лысый.

Она срывается и бежит к торфяникам.

Эрик бросается наперерез.

Сбивает Ксюшу на землю и седлает, смеясь. Он по-своему красив, одноклассницы были без ума от него, но свидания с одноклассницами скучны, как хлам из дедушкиного музея. Любовница должна пахнуть страхом и кровью.

Ксюша визжит под ним, сладкая, желанная.

– Убийца! Тварь!

Ее ладони беспомощно хлопают по грязи, волосы липнут к щекам.

Мир троится, ей мерещится, что идолов на заднем фоне не девять, а гораздо больше. Худые и высокие, как деревья, они двигаются по краю поляны, вытягивая остроконечные головы.

– Я первый, – говорит Лысый, спуская штаны.

Во рту и в ушах Ксюши – болотная жижа. Она не чувствует боли, она смотрит мимо мужчин.

На тех, кто жил здесь еще до манси, во времена, когда шуки ползали по тайге и поедали лунных оленей.

Существа плавно приближаются к ничего не подозревающему трудовику. Трехпалая лапа ложится на бритый череп. Он ахает изумленно.

– Дядь Коль, вы в порядке? – Эрик поворачивается к поделнику, и что-то резко сдерживает его с задыхающейся девушки.

Ксюша перекачивается на живот, встает, отплеываясь.

Истошно кричит Мушта. Она ковыляет к лесу, а крик захлебывается, и болото чавкает клыкастой пастью.

Она хватается за стволы, кеды скользят и тонут в буром месиве. Ветки секут по лицу мстительно. Сучья рвут одежду.

Она всхлипывает, спотыкается о корневище. Проваливается в темноту, и там Илья баюкает ее на руках и слизывает шершавым языком кровь со лба.

– Вот так, – говорит старуха, приподнимая ее голову. Отвар из трав течет по растрескавшимся губам, по подбородку. Девушка моргает, пробует сфокусировать взгляд. Илья зовет ее обратно в уютную тьму забытья, быть вместе навеки.

– Мой друг, – хрипит она.

– Знаю, – кивает старуха, отставляя миску.

В дверном проеме успокаивающий солнечный день. Догорает свеча, и воск капает на колотые плахи настила.

– Отдыхай, – говорит старуха, поправляя одеяло.

Она идет к выходу, подбирает свечу. Белоснежные косы раскачиваются маятниками.

Ксюша хочет спросить, почему в избе нет окон, но шепот Ильи слишком настойчив, она закрывает глаза и отдается ему, как отдалась когда-то, где-то.

– Я тоже тебя люблю, – улыбается она.

Старуха молодежavo прыгивает на землю. Запирает засов.

Теплый ветерок колышет подол ее платья. Вишневая бабочка порхает над оброненной маской филина. Июнь в разгаре, но мать учила старуху всегда помнить о зиме. И кормить хозяев.

«Сытые хозяева – добрая зима», – повторяет старуха материнские слова.

У кромки леса она озирается и смотрит на сумьях. На обгаренные кровью морды идолов.

Она искренне надеется, что городская девочка будет пребывать в беспамятстве, когда наступит ночь и менквы проснутся.

Задумчивая, она шагает по лесу и начинает негромко петь, и мертвые из низин подпевают ей.

Рассказы



Роженицы

Они уже видели море из окна автомобиля, когда погода окончательно испортилась. Небо затянули тучи, прохладное майское утро сменил почти октябрьский полдень, промозглый и сумрачный. Шоссе окропило соленой мокротой. За вуалью барахтающихся дождинок просмат-

ривалась гавань внизу, крыши игрушечных домишек, толкающиеся под напором прибоем лодки рыбаков.

Ветер боднул в бок «тойоту», норовя спихнуть ее с горного серпантина, и Лида поежилась. Дворники заскребли по стеклу.

Рома погладил Лиду по руке подбадривающе, и она выдавила слабую улыбку. Притиснулась к его плечу, спрашивая немо: «Дождь не мешает нашим планам, не испоганит долгожданный уик-энд вдвоем?»

– Это будут лучшие выходные, – заверил Рома и чмокнул ее в висок. Его карман вибрировал беззвучно, но он притворялся, что не замечает звонящего телефона. Лида ощутила вибрацию тыльной стороной ладони, и улыбка увяла.

– Заскочу в туалет, – сказал он, сворачивая к заправке.

Коробка АЗС занимала удобную выемку в известняковой породе. К ней прилепились палатки, торгующие рыбой и сувенирами. Холстина палаток хлопала крыльями напуганных птиц. Насыщенный йодом воздух щекотал легкие.

Рома посеменил к заправке, оставив Лиду у автомобиля.

С площадки открывался вид на приморский городок. Наверное, в солнечный день его можно было бы назвать впечатляющим, но слякотная суббота скомкала все, обесценила. Простор вгонял в уныние. Шевеление жидкого свинца устрашало. Море, ассоциирующееся с купанием, отпуском, с весельем и приключениями, теперь навевало мысли о кораблекрушениях, о таящихся в глубине скользких тварях, о гибели моряков...

Ветер окуривал запахом сырой трески.

«Он звонит ей, – пронеслось в голове, – этой бездетной суке. Лжет о командировке, выдумывает подробности».

Роман был мастаком выдумывать – Лида поняла это только сейчас, после года отношений. И клятвы, что за десять лет брака он изменил жене лишь с ней, больше не казались такими убедительными.

Волны вгрызались в темную полоску пляжа, щупальцами разбегались по руслам высохших ручьев, к белым коттеджам.

Две азиатки щелкали фотоаппаратами, и Лида угодила на снимок. Ее покажут мужьям и подругам в далеком Харбине или Гонконге.

Рома не торопился. Перепрыгивая лужи, Лида подошла к палатке с сувенирами. Нехитрый скарб из хлипких яхт, пепельниц-ракушек, вульгарных русалок. Одна поделка выбивалась из общей массы: крупная глиняная статуэтка, по форме напоминающая фаллос. Девушка дотронулась до шероховатой поверхности и сразу брезгливо отдернулась. Статуэтка была липкой, будто в слюде.

– Чертов Коготь, – сказала продавщица, появляясь из-за спины. Хиппи, драпированная цветастыми тряпками. В черных космах пряди, крашенные под седину, – она никак не старше Лиды, двадцать три – двадцать четыре года.

– Наша достопримечательность, – пояснила хиппи, – скала, похожая на палец. Но, между нами, девочками, вовсе не на палец.

Она подмигнула многозначительно.

– Наши предки поклонялись скале как святыне. Считалось, что Коготь исцеляет от бесплодия и усиливает сексуальное желание. Летом у нас нет отбоя от парочек. Энергетические вибрации и тому подобное.

Разговорчивую продавщицу отвлекли азиатки с фотоаппаратами, и Лида поспешила отойти от палатки.

Рома шлепал к «тойоте», улыбаясь как ни в чем не бывало. Сколько он трепался с ней? Пять? Десять минут?

Зачем она ему, черт подери, злобная училка, которой через пару лет стукнет сорок?

Автомобиль покати по серпантину. Мимо кладбища с памятником Воину-освободителю, облупившейся стены консервного завода и пивных ларьков.

– Мне лекцию прочли, пока ты отсутствовал, – сказала Лида. – Про Чертов Коготь.

– А! Член-скала, – хмыкнул Рома.

– Ты отдыхал здесь раньше? С ней?

– Нет, – сказал он мягко.

С другими?

Место сексуальной силы, куда мужики среднего возраста возят своих молодых любовниц?

Городок или, скорее, поселок тонул в сизом мареве. Дождь не накрапывал: горизонтально стелился, и ветви кипарисов трещали на ветру. Улицы имени Ленина, Маркса и Гагарина стекали к набережной, где их узелок перерезала улица Морская. Местные прятались в домах, для курортников был еще не сезон, и поселок выглядел покинутым.

Рома притормозил на провинциальной площади, сверился с навигатором. Лида прислонилась щекой к стеклу. Перед азербайджанским кафе сидела огненно-рыжая девица в куртке-косухе и армейских ботинках. Она хищно кусала яблоко. У ног стояла початая бутылка вина.

«Такая беззаботная», – с ностальгией подумала Лида.

«Тойота» свернула налево от площади и симпатичной панкетки. Пенящаяся зелень кустов лизнула корпус автомобиля, въехавшего в тесный проулок. За одинаковыми коттеджами мелькало неприветливое море.

– Нам сюда! – объявил Рома.

У обшитого белым пластиком домика дежурила толстуха в дождевике. Вручила Роме ключ с деревянной биркой, зыркнула на Лиду и неприятно осклабилась.

– Погостили бы до конца майских праздников. Даст Бог, и погода наладится.

– Работа, – вздохнул Рома. Говорил ли он вообще правду женщинам?

Лиде захотелось очутиться дома, где сухо и тепло, читать книги, готовить суши. Пригласить подруг...

Рома потопал по ступенькам, притрушенным песком.

– Ну, ты идешь?

Коготь они увидели полчаса спустя, гуляя по пляжу. Он вздыбился из воды в десяти метрах от берега, величественный и неприличный, окутанный предштормовой болтанкой. Обломок древнего рифа, шутка природы. Колонну венчал шишковатый набалдашник.

– Неплохой агрегат, – оценил Рома.

– Ты веришь в эти байки? – спросила Лида, отхлебывая чай из термоса. – Про особые вибрации?

– Надо проверить, – он обнял ее сзади, поцеловал за ушком, как ей нравилось. Она потерлась о его торс. Нет, она правильно поступила, поехав с ним.

Чайки ссорились у мусорных контейнеров, ветер становился все холоднее, он волочил с севера черные облака и мрачно гудел в раковине бухты. Рома и Лида шли, цепляя обувью водоросли. За песчаным барханом у береговой линии вырисовывалось скопление хибар, отделенных от Когтя шипящим мелководьем. Десяток ветхих фургончиков, поменявших колеса на протезы-кирпичи.

– Пансионат для бедных, – сказал Рома.

Лида поймала себя на мысли, что Коготь вызывает у нее подспудное отвращение. Ее, современную раскованную девушку, смущал и странно беспокоил простой кусок горной породы.

– Я замерзла.

– Давай возвращаться, – согласился Рома.

По безлюдному пляжу... по хрустящим скорлупкам ракушек... по чьим-то причудливым следам.

В коттедже она приняла душ и надела красное платье из дорогой шерсти, отлично подчеркивающее фигуру. Нет, училка и в лучшие свои годы не составила бы ей конкуренцию.

Платье произвело на Рому должный эффект. И нестриженный байкер на парковке у кафе буркнул нечто грубо-комплиментарное. Рома приосанился, покрепче обхватил локоть спутницы.

Окна кафе смотрели на залив. Темно-серая муть бесновалась и клекотала, волны взрывались грязной пеной у пирса.

Под скелетом доисторической рыбы сидела старуха с белоснежными косами, мумия некогда красивой женщины. Рядом находилась над планшетом девочка-подросток. Больше посетителей в кафе не было.

Рома направился к дальнему столу.

Да, конечно, он приезжал сюда с женой. Лечить ее стерильное чрево. Но Коготь оказался бессилен...

Стены кафе оклеивали пожелтевшие страницы советских и постсоветских газет. Бисер букв, точно мошकारа, черно-белые фотографии моря.

Пока угреватая официантка сервировала стол, Лида прыгала глазами по статьям, поражаясь скучным темам и кондовому языку. Там широкими коридорами техникумов шагали в свет специалисты консервного завода, труженики моря тащили невод с дарами, и Посейдон собирал гостей на традиционный фестиваль.

Разве не замечал никто из горе-журналистов, как на самом деле здесь страшно? Какой безысходностью веет из щелей, как тоскливо кричат чайки, как любимый мужчина врет, смакуя вино, и мертвый каменный член ложится тенью на потраченный впустую год?

— Что с тобой, котенок?

Его теплая ладонь накрыла ее кисть.

Действительно, что? Она же мечтала об этой поездке, о том, чтобы побыть с ним наедине. И плевать на дождь, в коттедже есть кровать и душевая кабина, подоконник и мохнатый ковер у камина. Они отметятся везде, и вернуться с детьми, и будет солнце, лето, и чайки станут голосить совсем иначе...

Лида встряхнула волосами и наклонилась, чтобы поцеловать Рому. Девочка-подросток и статная старуха молча ели суп и не моргая пялились в окно.

Вибрация Роминого мобильного прервала поцелуй.

— Коллега, — сказал он. — Я на секунду.

Он ушел, а Лида оцепенело вперилась в стену. Зернистый снимок на уровне ее лица: заледеневшая отмель и прорубь в виде креста.

«Вчера, 19 января, православные христиане отпраздновали Крещение Господне. Важным атрибутом даты является ныряние в предварительно освященные водоемы, смывание накопленных за год грехов»...

Идея купания в ледяной воде ужасала уже сама по себе. А уж в бескрайнем море, где из мглы за тобой могут следить прямоугольные зрачки головоногих моллюсков...

«Обряд Крещения совершался под присмотром медиков. Ими было госпитализировано двое пострадавших. Один человек погиб. Его съел Бог».

«Что за ерунда, — нахмурилась Лида, — какая-то бессмыслица».

Она обернулась к барной стойке, словно ища объяснений. Официантка застыла как вкопанная и тарасилась на нее в упор. Старуха и девочка тоже наблюдали за Лидой из-под скелета рыбы.

— Ну как ты тут? — спросил Рома, заслоня чужаков.

Его шея покраснела, как бывало, когда он злился. Значит, разговор с «коллегой» перерос в дискуссию.

– Ты обещал рассказать ей о нас в мае, – произнесла Лида.

Он оторвался от тарелки с осетром.

– Май начался сегодня. Я все помню, котенок.

Она кивнула, изучая его. Он выглядел старше, чем обычно: потрепанный мужик с проклеывающейся залысиной и сеточкой морщин в уголках добрых честных глаз.

Вернувшись домой, он отмоеет машину от песка, соскоблит с себя жесткой мочалкой песчинки, запах моря и ее запах.

Волны били и били о плиты.

На лестнице Лида разминулась со стриженной под каре блондинкой в деловом костюме. Блондинка замешкалась, окликнула ее:

– Простите, вы... – она кашлянула, – вы участница семинара?

– Нет, – сказала Лида и добавила мысленно: «Нет, я другая дура».

Над телевизором в коттедже висела картина в дешевой рамке: ночное море, тщательно выписанный Чертов Коготь и девушки в воде, хоровод голых красоток вокруг скалы. Девушки держались за руки, лунный свет струился по их гибким телам.

Лида рассматривала холст поверх Роминого плеча.

– Да, – шептал Рома, – да, вот так, солнышко, вот так...

Если что-то и вибрировало здесь, то только его телефон в ее голове. Почувствовав, что Рома устает, она симулировала оргазм и помогла ему.

– Я люблю тебя, – сказал он восторженно.

Девушки на полотне стояли не в воде, а на воде: их босые пятки чуть касались морской глади. Лида замерла под картиной и очертила ногтем скалу. Холст был влажным, словно краска не высохла. Лида убрала пальцы, скривившись, и тут же снова потрогала рисунок.

Так, будучи школьницами, они с подружками шастали в парк подсматривать за эксгибиционистом, со сладким любопытством и омерзением.

– Это какой-то местный ритуал? – спросила она.

Рома засопел во сне. Невинный и незащитный, с размякшим ртом.

Его мобильник приютился на тумбочке. В адресной книге Лида значилась под именем «Лидия Сергеевна». Косясь на спящего Рому, Лида взяла телефон и бесшумно выскользнула в ванную комнату.

С колотящимся сердцем она открыла входящие сообщения. Он удалял ее эсэмэски, естественно. Но он удалял и прочие письма, все, кроме писем жены. За две тысячи двенадцатый, две тысячи десятый, две тысячи восьмой год... Вереница эсэмэсок от училки. Сотни коротких и пронзительных признаний в любви, слова поддержки, тихие и правильные слова:

«Родной, любимый...»

«Где бы ты ни был...»

«Какую бы боль ты мне ни причинил...»

У Лиды защипало в горле. Дыхание сперло. На улицу, на свежий воздух...

Она выскочила из коттеджа, не разбудив мужчину. К полосе прибоя, точно намеревалась нырнуть в грохочущие волны, очиститься от греха, переродиться. Кеды промокли, и она опомнилась, вышла на сушу. Дождь закончился, небо прояснилось, предвещая солнечное утро. Луна серебрила воду и каменный перст вдали.

Слезы хлынули по щекам, соленое к соленому.

Лида плакала, обняв себя леденеющими руками. Жалкая, лишняя, со своей молодостью и амбициями, с гладко выбритыми половыми губами и зудящей пустотой внутри.

Всхлипывая, она гуляла по пляжу, как в детстве, когда, отдыхая с мамой на море, неожиданно узнала, что родители разводятся. Лида даже улыбнулась сквозь слезы, умилившись собственному прошлому, своей боли. Щеки подсыхали.

«Я не плохой человек», – думала Лида, оправдываясь перед кем-то, да хотя бы и перед скалой, к которой она неспешно брела.

«И училка не плохая, раз любит Рому»...

Из-за дюн вышел силуэт, одинокая фигура под звездным куполом.

Лида вытерла слезы и подняла ворот куртки.

Расстояние между ней и Когтем сокращалось. Сокращалось расстояние между ней и идущей навстречу фигурой.

Это была женщина. Беременная. Совершенно раздетая – брови Лиды поползли на лоб – и пошатывающаяся при ходьбе.

Пьяная она, что ли?

Женщина спотыкалась, налитые груди раскачивались над огромным круглым тугим как арбуз животом. Справа у мусорных контейнеров горел, приманивая насекомых, фонарь. Луна ярко освещала пляж, и Лида различала багровые рубцы растяжек на животе женщины, сплетение сосудов, красный, будто воспаленный, пупок.

«Блондинка из кафе», – определила Лида. Удивительно, что вечером она не обратила внимания на ее живот... или вечером живота не было? Память зафиксировала узкую талию под строгой блузкой. Чушь, конечно...

– Эй, вы в порядке?

Блондинка уставилась на нее расширившимися до предела зрачками. Бледная, напряженная, со смятой прической.

– У нас получилось, – просипела она, опасно накренившись. И ухмыльнулась, да так, что сухие губы треснули и заалели сукровицей. Лида успела подхватить женщину и усадила ее на песок. Случайно коснувшись живота, она ощутила толчки, сильные и уверенные.

– Вы что, рожаете? – испуганно спросила Лида.

– Я богоматерь, – сказала блондинка, безумно усмехаясь и вращая глазами. Белки светились голубоватым оттенком.

Лида пропустила фразу мимо ушей. Набросила на беременную свою куртку.

– Я приведу людей, – крикнула она.

До вагончиков пансионата было метров двадцать, и Лида побежала по песчаному гребню. Ветер опалял кожу, море расшвыривало пену. Прибой похотливо лизал подножие Чертова Когтя.

– Эй! – закричала Лида с холма, – кто-нибудь, помо...

Она осеклась, отпрянула и завизжала истошно, сообразив, что именно видит.

Берега пляжа были усеяны телами. Обнаженные женщины лежали вповалку, не меньше дюжины искореженных, выпотрошенных, скрученных трупов. Мертвые лица запрокинуты к скале в дикой смеси добровольной муки и посмертной благодарности. Старуха и девочка-подросток, хиппи с заправки и туристки-азиатки, рыжеволосая панкетка и официантка. У каждой из них – разглядела потрясенная Лида – были вспороты животы и сломаны тазовые кости, словно неистовая стая хищников растерзала несчастных женщин и поглумилась над трупами.

Над пансионатом витал запах бойни.

Лиду стошнило тонкой струей спермы и желчи. Она метнулась прочь от жуткой сцены, от сатанинского рокота волн к цепочке коттеджей.

Блондинка исчезла. Лишь курточка валялась на песке, и багровый след тянулся от пропитанной кровью ткани к фонарю. Лампа в зарешеченном плафоне моргнула издевательски. Что-то зашуршало за контейнерами, что-то грузно прошло там, в темноте. Тень легла на белую

стену, и Лида решила, что повредила рассудком, ведь ничто живое в мире не могло отбрасывать эту тень.

Пляж заволокло туманом, туман клубился в черепной коробке, сбивая с пути. Кеды вязли, за спиной скрипел песок.

На крыльце запертого коттеджа шевельнулось и двинулось в ее сторону нечто бесформенное, слепленное сумасшедшим сюрреалистом из разных частей рыб, моллюсков и раков.

Лида мчалась не озираясь, но развитое периферийное зрение улавливало силуэты, рыскающие во мраке. Неправдоподобные. Чуждые разуму формы. Она не сбавляла бег.

Ворвалась в домик и захлопнула дверь: уродливые тени уже кишели под порогом.

– Котенок?

Рома шел к ней, зевая.

– Мертвы! – она уткнулась в его грудь, дрожа от ужаса. – Все мертвы! Какие-то животные... убили женщин...

– Что ты говоришь? – Рома изумленно воззрился на нее.

Снаружи по дверному полотну мокро шлепнуло.

Лида подумала, что одна из фигур выглядела так, будто атлетически сложенный мужчина взгромоздил себе на плечи голову акулы.

– Иди в комнату и запишись, – сказал Рома не терпящим возражений тоном.

– Нет, ты не понимаешь!

Он отпустил ее руку и медленно зашагал по коридору.

– Все будет хорошо, – соврал он напоследок.

Лида привалилась к стене возле кровати, буравя глазами дверь. На холсте девушки проводили свой таинственный ритуал, и скала лоснилась от лунного масла.

Завибрировал телефон. Лида едва не откусила себе кончик языка. Схватила мобильник, не отрываясь от дверей, поднесла к уху.

– Я знаю, что бужу тебя, – сказала женщина виновато, – но мне приснился дурной сон. Реалистичный и гадкий. И тебя в нем убили, представляешь? И я осталась одна. Алло, ты слышишь меня, любимый?

– Он не вернется, – прохрипела Лида в трубку. – Простите меня, пожалуйста.

Потом выронила телефон и села на корточки. Коленки звонко стучали друг о друга.

Дом наполнялся звуками, запахом моря и крови.

Лида зажала рот, запечатала крик.

Сегодня ей тоже предстояло стать матерью.

Слухи

Месяц назад Инна переехала в Москву. Вернее, в Подмоскowie, но для девушки, всю жизнь мечтавшей вырваться из оков родного индустриального гиганта, разница была несущественной. Час на электричке – и ты уже в столице. Час обратно – и ты в сером уродливом городишке, куда люди приезжают поспать, чтобы утром вновь окунуться в сияние заветной Москвы.

Инне везло. Накопленные деньги еще не закончились, а она уже нашла работу. Супермаркет в центре столицы, недалеко от Пушкинского музея и храма Христа Спасителя. Неплохой старт, считала она.

Впрочем, засиживаться слишком долго за кассовым аппаратом Инна не планировала. Как и миллионы других девочек из провинции, она надеялась встретить того самого москвича, который заберет ее из супермаркета, из съемной квартиры и под Марш Мендельсона поселит в черте МКАДа.

Задача, конечно, не из легких. Сегодня Инна отработала свой первый день в новой смене: до 22.00. Прибавьте час на дорогу – и попытайтесь найти время на поиски жениха.

«Ничего, – думала девушка, выходя из электрички. – Главное, я освоила московский акцент».

Вместе с небольшой группой людей она спустилась с вокзальной платформы и оказалась на ночной улице. Пассажиры, что ехали с ней, быстро рассеялись по сторонам, оставив ее одну.

Непривычная после столичного шума тишина зазвенела в ушах. Инне и днем не очень нравилось в этом захолустье – провинциалка, она все же выросла в городе-миллионнике. Ночью же Подмоскowie и вовсе выглядело угрожающе. Угрюмые пятиэтажки тонули в безмолвии, изредка нарушаемом пьяными вскриками или тоскливыми песнями. Горящие окна были такой же редкостью, как горящие фонари.

Всю смену ей предстоит возвращаться домой в темноте и одиночестве.

«Это временно», – подбодрила она себя и пошла к пятиэтажкам. Каблучки громко застучали по асфальту. Словно азбука Морзе, призывающая случайных маньяков познакомиться с беззащитной жертвой.

«А тот Емельянинов, консультант из отдела электроники, не так плох», – подумала Инна, опасливо косясь на обрамляющую аллеи сирень. В воздухе пахло цветами и мочой.

Вдалеке залаяли собаки, чьи одичавшие стаи были бичом провинции. Из окон выплеснулись аккорды бытовой ссоры.

– Придушу, сука! – сказал невидимый голос кому-то, а потом включился Высоцкий. Достаточно громко, чтобы под песню о волках можно было неслышно душить.

Инна ускорила шаг. Впереди замаячила хрущевка, в которой она снимала квартиру. Девушка миновала ряд гаражей-ракушек, доминошный столик и электрическую будку. Пересекла детскую площадку с врытыми в землю автомобильными крышками. Она никогда не видела здесь детей да и с соседями сталкивалась редко. С работы ее встречал лишь похожий на языческого идола деревянный чебурашка. Но в этот стремящийся к полуночи вечер во дворе былолюдно.

Инна заметила их издалека. На лавочке у подъезда, освещенные светом из единственного горящего окна, сидели три фигуры. Невероятная массовость для здешних мест.

Тревожные мысли заполнили голову девушки. Вдруг это наркоманы? Вдруг они захотят ее ограбить или изнасиловать? Откликнется ли кто-нибудь, если она начнет кричать? Придут к ней на помощь или безразлично отвернутся к настенному ковру?

«Нужно было купить газовый баллончик, как советовала мама».

Но в следующую секунду от сердца девушки отлегло. Правду говорят, что у страха глаза велики. Никакие это не наркоманы, а всего-навсего три засидевшихся допоздна старухи.

Инна, незадолго до переезда похоронившая бабушку, испытывала к пожилым людям трогательные чувства.

Упрекнув себя в малодушии, она пошла к подъезду.

Раньше девушка не замечала, чтобы на местных лавочках кто-то сидел. Наличие дворовых бабуль вдруг сделало подмосковный городок милее. Более живым, что ли.

До Инны донеслись обрывки беседы:

– А я вам говорю, тлен. Не было там жидкости, как труха все. Берешь, оно ломается, сухенькое. Ни крови, ни лимфы. Только пыль...

Говорившая старушка – Инна хорошо видела всех троих – была грузной женщиной с коротко постриженными волосами и орлиным носом. Одета не по погоде тепло, в мужской свитер с американским кондором, она обмахивала себя каштановой веткой.

– Чушь! Там брызгало все. А где от газов треснуло, там сочилось. Густо сочилось, с запахом. В ней мотыльки выросли и вылетали потом, жались к полиэтилену изнутри. Красиво...

Возражавшая женщина была маленькой и округлой, в толстых очках с роговой оправой. Она вязала, используя необычайно длинные и неровные спицы. Спицы стучали друг о друга, ковыряя траурно-черную пряжу.

– Добрый вечер! – сказала Инна, поравнявшись с лавочкой.

Маленькая старушка подняла на нее комично увеличенные диоптриями зрачки и дважды моргнула. Не удостоив новую соседку приветствием, она вернулась к вязанию. Старушка в свитере окинула Инну мрачным взглядом и едва слышно фыркнула. Третья же, та, что молча сидела посредине, даже не посмотрела в ее сторону.

Самая худая и, должно быть, самая старая из женщин, третья старуха была одета в дюжину одежек и держала на коленях картонную коробку с семечками. Высушенное временем лицо было опущено вниз, изуродованные артритом пальцы безучастно перебирали содержимое коробки.

Инне стало обидно за то, что с ней не поздоровались, но она вспомнила: это Москва (ну, почти Москва) и здесь свои понятия о вежливости.

Демонстративно повернувшись, она пошла в подъезд.

– Слыхали, опять в метро рвануло, – сказала старуха с кондором.

– Еще бы, – отозвалась старуха со спицами, – тринадцать жертв!

– Четырнадцать. Безруконький в больнице помер.

– Кишки, говорят, на поручнях висели.

– Мясорубка... а террористов не найдут.

– Никогда не найдут.

«Какой ужас», – передернулась всем телом Инна. «Терроризм», слово из телевизора, с переездом в Москву обрело реальные угрожающие формы.

Железные двери подъезда уже закрывались за ней, когда старуха с кондором сказала старухе со спицами:

– Инка.

И та ответила:

– Шалава.

На следующий день про теракт заговорили все: и работники супермаркета, и посетители. Люди взволнованно звонили близким, перешептывались, горестно вопрошали, чем занимаются милиция и правительство. Плазменные телевизоры в отделе электроники говорили голосом Арины Шараповой:

– Тринадцать человек погибло, около тридцати доставлено в больницы с травмами различной степени тяжести. По предварительным заключениям бомба была оставлена под сиденьем в задней части вагона...

– Когда это произошло? – спросила изумленная Инна у Вовы Емельянинова.

– Полтора часа назад.

– Не может быть!.. Я же вчера об этом слышала...

– Ты что-то путаешь. Наверное, ты слышала о каком-то другом взрыве. Эй, с тобой все в порядке?

– Да-да... – пробормотала девушка, хотя никакого порядка в ее душе не было. И лишь фляга с коньяком, любезно предложенная Емельяниновым, успокоила ее.

Начальство объявило короткий день. Инна вернулась в Подмоскovie засветло и занялась домашними делами. Около одиннадцати вечера она решила посмотреть телевизор, о чем немедленно пожалела.

– Мальчик, которому во время сегодняшнего теракта оторвало обе руки, умер в больнице, не приходя в сознание. Таким образом, он стал четырнадцатой жертвой потрясшей мир бойни. Напомним, что...

Инна выключила телевизор и подошла к окну. С высоты четвертого этажа она видела ночной двор, петельки врытых в землю покрышек, деревянного чебурашку. Она открыла окно и посмотрела вниз.

На лавочке сидели три темные фигуры. Бабушки, которые гуляют по ночам.

Грузная старуха обмахивала себя веткой каштана, старуха в очках дергала спицами узлы пряжи, старуха в центре молча перебирала семечки.

«Грымзы», – зло подумала Инна, вспомнив, как вчера ее ни за что обозвали шалавой.

«Облить их, что ли, холодной водой?»

Представив результат такого хулиганства, девушка захихикала. На самом деле она никогда не осмелилась бы на подобный поступок.

– Слыхали, – неожиданно отчетливо произнесла старуха с кондором, – Лешку Талого подрезали.

– А то, – подтвердил чавкающий вставной челюстью голос старухи со спицами. – Дружки же его и подрезали. Восемь ножевых.

– В селезенку, в почки, в печень-печенюшку прямо...

Казалось, женщины наслаждаются, перечисляя кошмарные подробности чужого несчастья. В голосе звучало нескрываемое удовольствие, будто утоленный голод.

– Умер как пес в подъезде, – приговаривала старуха с кондором. – Кровушкой истек, холодненький, покойничек теперь, совсем покойничек...

Инна резко захлопнула створки окна. И вновь в последний момент услышала:

– Шалава!

Настали долгожданные выходные. Погода стояла прекрасная, в окна лился запах цветущих растений. Инна выпорхнула из съемной квартиры, напевая под нос незатейливую песенку. С утра ей позвонил Емельянинов, предложил показать Москву. Самое время продемонстрировать шикарное синее платье, привезенное с малой родины. Оно отлично сидело на ней, подчеркивая достоинства фигуры. А как соблазнительно обтягивало попку!

Крайне довольная собой, Инна стучала каблучками о ступеньки подъезда. Между вторым и третьим этажами цокающий ритм сбился. Она остановилась перед группой парней, рассевшихся на перилах и преградивших ей путь. Типичные завсегдатаи обгаженных постсоветских подъездов, короткостриженные, худые, с криминальной мглой в глазах. С передающимися от старшего к младшему брату замашками завсегдатаев российских тюрем.

Сердце Инны застучало быстрее. Она ощутила на себе насмешливые, оценивающие и одновременно презрительные взгляды. Пожалела, что у платья такой глубокий вырез.

«Это просто малолетки, – подумала девушка, – они ничего мне не сделают».

– Пропустите, – потребовала она.

Самый старший из парней, лет девятнадцати, ощерился желтозубой улыбкой. Он был по своему красив, с нервными чертами лица и повадками волчонка. Их глаза встретились. Глаза парня были задумчивыми и даже печальными, что контрастировало с его ухмылкой.

– Пропусти, – повторила она твердо.

– Никто не держит, – сказал он и махнул рукой, вали, мол.

На предплечье парня она разглядела синюю наколку: «Талый».

В памяти всплыли слова старух: «Лешка Талый кровушкой истек, покойничек теперь, совсем покойничек»...

Инна прошла сквозь строй парней. Они проводили ее улюлюканьем и свистом. Только красивый мальчик с наколкой не свистел.

Выходные удались на славу – Вова Емельянинов оказался очень веселым и остроумным собеседником, к тому же, судя по всему, отнюдь не бедным женихом. Для консультанта из супермаркета – очень небедным. Жаль, домой не позвал, да и она, вернувшись в Подмоскovie, пожалела, что не пригласила его к себе. В чужой квартире, в чужом городе ей жутко захотелось ощутить на себе сильные мужские руки.

Всю ночь во дворе кто-то хрипло смеялся.

Началась рабочая неделя. Ежедневно ее встречали во дворе деревянный чебурашка и три неизменные фигуры на лавочке.

Она старалась пройти мимо них быстро, но обрывки фраз все равно доносились до ее ушей. Это были всегда какие-нибудь гадости, мерзкие факты из чьих-то биографий, истории смертей.

– Маринка-то с пятого залетела от дагестанца...

– Он в своем Дагестане человека сбил, слышали? В девяносто девятом сбил девочку и с места аварии сбежал, так его и не поймали. Долго ж она умирала, девочка эта, раздавленная по асфальту...

Ключи, как назло, выскальзывали из пальцев Инны, никак не попадая в кружок магнитного замка.

– Маринка не дура, инженерику сказала, что от него беременна, а он и клюнул.

И тут же совершенно новая информация:

– Умерла Маринка во время родов, слышали? Порвалась вся...

И хотя Инна понимала, что все это только сплетни отвратительных старух, возвращаться в съемную квартиру становилось еще невыносимее.

«Это временно», – как мантру повторяла она и по ночам, проснувшись, подходила к окнам: сидят ли? Сидят. При свете луны, втроем.

Она не встречалась с троицей в дневное время. Даже когда в их дворе проходили похороны и собралось столько народа, сколько Инна не встречала во всем городке прежде, старух среди них не было.

«Почему же вы не явились на похороны? – подумала Инна, скользнув глазами по процессии. – Вы же так любите мертвецов»...

В гроб она посмотрела не из любопытства, а втайне надеясь, что увидит там одну из старух.

Но в гробу лежал парень, с которым она столкнулась в подъезде неделю назад. Волчонок. Лешка Талый.

По рукам девушки побежали мурашки.

«Это совпадение, – подумала она, – так бывает. Парень вертелся в маргинальной среде, нет ничего удивительного, что он погиб, как старухи и предсказывали»...

Предсказывали...

«Нет ничего странного в том, что они говорили о теракте за день до теракта – в мире происходит столько взрывов»...

Инна нервно потерла лицо рукой.

Она подумала, что нужно спросить, как именно погиб Талый, убедиться, что подробности смерти не совпадают с опередившими их сплетнями...

Спросить хотя бы у той девушки, что стоит в обнимку с мужчиной кавказской национальности...

Но она не спросила. Она пошла в квартиру, надеясь, что горячая ванна избавит ее от дурных мыслей.

В следующую субботу они с Вовой целовались в арке перед нехорошей квартирой Булгакова, и он мнял ее груди и жарко сопел в шею.

– Ко мне нельзя, – сказал он, – у меня ремонт, живу у друга.

– Поехали ко мне, – тяжело дыша, произнесла она.

Этим вечером городок не показался ей ни опасным, ни зловещим. Всего-то надо было почувствовать мужское плечо, мужские губы под каждым неработающим фонарем.

– Вот там я живу.

Старуха она увидела издалека. Горделиво выпрямила спину, подхватила спутника под локоть.

Старуха с кондором и старуха со спицами повернули к ним головы, лишь та, что сидела в центре, осталась привычно безучастной.

– Не здороваясь, – шепотом предупредила Инна.

– С кем? – уточнил Вова, и тут же старуха с кондором сказала, обращаясь к своим товаркам:

– А это Вова Емеля, в Москве без году неделя, врет, что коренной москвич, а у самого долги и ВИЧ.

Слова прозвучали совершенно четко в абсолютной тишине.

Инна ошарашенно посмотрела на старух.

Те были заняты своими делами. Спицы подбирали черную пряжу, пальцы двигались в семечках, широкие каштановые листья хлопали в воздухе.

– Ты... ты слышал?

– Что, куколка?

Инна подняла глаза на Емельянинова.

Он спокойно улыбался ей. Нет, он не слышал. А может быть, и нечего было слышать...

– Мне... наверное, показалось... та ужасная старуха прочитала стишок, и мне послышалось...

В горле Инны запершило, она не смогла договорить. Не смогла сказать: «Мне послышалось, что он про тебя».

Ведь в этом не было никакой логики. Бред. Безумие.

Он подтолкнул ее к подъезду и полез целоваться на лестничной клетке. Она стояла, опустив руки по швам, плотно сжав губы.

– В чем дело, куколка?

Она попросила, чтобы он ушел. Он хлопал ресницами и все еще улыбался. Она настаивала и расплакалась. «Куда мне уходить?» – спросил он. Она лишь трясла головой и повторяла: «Уходи, я хочу побыть одна». «Сука», – сказал он на прощание.

Она проснулась ночью от странного звука. Хлопанье – так хлопает по воздуху веер или что-то подобное. И еще шорох, будто истерзанные артритом пальцы перебирают семечки, цепляя длинными ногтями дно коробки. И еще легкое позвякивание, какое бывает, когда искривленные спицы стучат друг о друга.

Инна распахнула глаза.

Они были здесь, в ее комнате.

Они сидели прямо на изножье дивана, цепляясь задними лапами за поверхность, как могут сидеть лишь животные.

Старуха со спицами посмотрела на девушку хищно, из-за диоптрий казалось, что у нее восемь глаз разного размера. Обрамляющие ее рот отростки-хелицеры зашевелились. С них капала густая ядовитая смола.

– Слыхали, – проворковала старуха, – Инка-шалава в Москву переехала. С тремя мужиками крутила, всех троих бросила.

– А то! – сказала, щелкая изогнутым клювом, старуха с кондором, – три аборта, а ей все мало, ничему не учится.

Средняя молчала, низко опустив голову, лишь шуршали в семечках ее лапки.

– У отца ее рак, отец гниет, – продолжала первая старуха, поглаживая ногощупальцами свое покрытое бородавками брюшко, – она отца бросила, она на похороны к нему не приедет.

– Никого не любит, кроме себя, – подтвердила старуха с кондором. – Шалава...

– Ложь, ложь! – закричала Инна что было сил.

И проснулась.

По дороге на работу она сделала две покупки: дешевенький MP-3-плеер и газету с объявлениями. Квартира в Раменском стоила намного дороже той, что она снимала сейчас, но решение уже было принято. Она съедет отсюда, пока окончательно не сошла с ума. Здесь творится что-то странное, что-то, в чем не нужно разбираться, от чего следует просто бежать.

– Емельянинов про тебя слухи распускает, – сообщила ей напарница, – что, мол, ты того, с приветом.

– Мне плевать, – отрезала она.

– Смотри, до начальства дойдет, могут и уволить.

Инна задумалась и произнесла:

– А ты знала, что у него ВИЧ?

Три поп-хита сменились в ее ушах, пока она шла от вокзала к своему двору.

«Он больше не мой, – напомнила она себе, – это последняя ночь здесь, завтра я буду жить в новом месте».

Она включила звук в плеере на полную громкость. Музыкальный блок сменила радиопередача.

– Привет, привет, привет! – загрохотал голосистый диджей. – Сегодня в студию мы пригласили троих прекрасных гостей. Вернее, гостей! Кто может знать о ситуации в России больше, чем те, кто старше самой России! Да что там России, они ровесницы планеты Цереры, а это, на секундочку, старше Аллы Пугачевой и даже Луны! Поверьте, они лишились девственности, когда древние платформы еще только собирались объединяться в материк Лавразию! Шучу-шучу, они до сих пор девственницы!

Не обращая внимания на словесный понос ведущего, Инна шагала по двору. Деревянный чебурашка проводил ее безжизненным взглядом.

«Не смотреть в их сторону, – прошептала она про себя, – ни за что не смотреть»...

И тут она услышала их голоса. Прямо из наушников, из радио, четкие, перебивающие друг друга:

– Мор... Чума... язвы на трупиках, язвы и волдыри...

– Война, они опробовали новое оружие, мгновенно убивает яичники...

– А Алики из пятого задавил жену... расчленил в ванной... на глазах детей лобзиком...

Соленья делал...

– Привез жене шубу из заграницы... паук отложил яйца в ее ушах...

– Автомобильная катастрофа... весь класс как один...

– Заживо сгорел при запуске ракеты...

- В брачную ночь отравились газом...
- Рак...
- Саркома...
- Смерть...

Инна завизжала и сорвала с себя наушники. Они полетели на асфальт, словно свившиеся гадюки с двумя капельками крови на динамиках.

Инна подняла полный ужаса взгляд.

Лавочка стояла возле дверей подъезда, преграждая путь.

И они, конечно, они были там: звенящие спицы, хлопающее опахало из каштановых листьев, шорох семечек. Глаза, которые срывают с тебя одежду, проникают под кожу извивающимися червями, смотрят, что у тебя там. И видят все.

Инна бросилась прочь, не задумываясь, теряя туфли, во тьму, назад, подальше от них, на последнюю электричку, успеть, успеть, успеть...

Старуха с кондором и старуха со спицами смотрели ей вслед, обвиняюще хмурясь.

А та, что сидела посредине, – ее звали Мать Крыса, – открыла беззубый рот, и из него потоком хлынули косточки. В основном мелкие, но были и крупнее: осколки ключиц, кусочки черепов. Кости падали в картонную коробку, отскакивали на асфальт со стуком. Наконец поток иссяк.

Старуха поднесла к лицу скрюченную руку и засунула пальцы себе в рот. Так глубоко, словно хотела пощупать желудок. Ее тощее гусиное горло вспухло, кисть полностью исчезла за впавшими губами. Отыскав что-то внутри, женщина вытащила руку. Нити слюны тянулись за ней, в пальцах была зажата крошечная белая косточка.

Две другие старухи уважительно молчали, ожидая.

Некоторое время Мать Крыса обнюхивала находку. Ее лицо, черное, как обгоревшая древесная кора, поднялось к ночному небу. Веки разлепились, и укутанные в бельма глаза посмотрели в пустоту.

– Слышали, – сказала старуха, – Инку-шалаву собаки загрызли. Три черных суки. Изорвали в клочья и лицо ей поели, а внутренности по всему пустырю разнесли. А у одной суки детки родились, и у щенка на боку пятно в виде крестика.

На том старуха устало обронила голову на грудь и зашелестела пальцами в коробке.

Старуха со спицами многозначительно фыркнула и вернулась к вязанию, а та, что обмахивала себя веткой, задумчиво поглядела на небо.

Голая луна мерцала над крышами пятиэтажек. Ветер увел стадо туч на север, в сторону Москвы.

Жуки

Как и всякий человек, долго проживший в городке, Настя Теплишина, конечно, слышала о Жуках. И о том, что с ними лучше не связываться. Изредка встречала кого-то из многочисленного Жучиногo семейства – угрюмых мужчин с такими смуглыми физиономиями, будто они терли о наждак щетины зеленые орехи. Видела она и их матушку, горбатую старуху, которую вел под локоть двухметровый детина. Жуков предпочитали не замечать.

Они жили за заброшенной сортировочной станцией – то еще местечко. Промышляли кражей металла: срезали провода, поручни, качели, воровали люки. Участковый ни разу не пересек ветхий железнодорожный мост, не привлек их к ответственности. Для социальных служб – и это уже почти мистика – Жуков не существовало вовсе.

Благо, в городке, полном своих проблем, появлялись Жуки не часто. Умыкнуть, что плохо лежит, и прикупить продуктов в магазине. Крупы, консервы, лекарства, керосин. Починить допотопный генератор. В их хибаре отсутствовало электричество, газ и канализация. Грохот мотоцикла с отваливающейся коляской за версту предостерегал горожан. Имелись бы ставни на окнах – люди запирали бы ставни.

Асимметричные лица Жуков – Настя прикидывала, что их как минимум дюжина, – хранили следы вырождения. У них были низкие лбы и приплюснутые носы, массивные челюсти со скошенными подбородками и маленькие злые глазки.

Судачили, что их женщины рожают там же, на станции, но за два десятилетия педагогической работы Теплишина учила лишь двоих Жуков. Колю в конце девяностых и Митю теперь.

Коля – замкнутый, хилый и явно психически нездоровый – до восьмого класса прятался на задней парте. Ровесники его сторонились, учителя старались не трогать, точно этот акселерат с водянистыми бельмами был настоящим насекомым. Его выдворили на вольные хлеба, когда он отнял у одноклассницы морскую свинку и отгрыз зверьку голову. Дребезжащая «Ява» увезла больного парнишку к сортировочной. Прощай, Коля.

Кабы не презрительные шепотки коллег, Настя считала бы шестиклассника Митю однофамильцем мрачного клана. Робкий, но любознательный, страдающий от одиночества мальчик. Ребята, боясь его семьи, которой их с детства пугали родители, не задирали Митю, но и дружить с ним не желали. Днями он просиживал на трибунах спортивного стадиона, с завистью следя за гоняющей мяч пацанвой. Или хоронился в оранжерее. Плакал – от внимания Теплишиной не ускользали припухшие веки и покрасневшие белки ученика.

Ни внешне, ни повадками он не походил на родственников. Бледный, с тонкими чертами, изящными запястьями. Словно краденый, как качели и люки. Одевался бедно, на вырост, и от его кроссовок сердце Теплишиной обливалось кровью.

Однажды, столкнувшись с учительницей у рынка, он взял ее тяжелые сумки и, не проронив ни слова, дотащил до дома. Отказался от конфет:

- Мама не разрешает.
- Почему бы твоей маме не зайти ко мне?
- Она очень занята, – сказал Митя тихо и заторопился.

Настя – Анастасия Павловна – ведя урок, положила на плечо Мити Жука ладонь. Он напрягся, окаменел, дрогнули длинные пальцы, сжали карандаш.

«Никто не гладит тебя, – подумала учительница. – Несчастный мальчишка».

И ставила ему четверки там, где он едва заслуживал тройку. Мальчик хоть и тянулся к русскому языку и литературе, от других детей сильно отставал.

В пятницу после уроков Теплишина открыла его тетрадь, пробежалась по сочинению «Мой родной город». Море ошибок, нелепых, допущенных по рассеянности, но за ними мая-

чил печальный мир ребенка, не выезжавшего из глухомани. Его миром были оранжерея, стадион и холм, с которого он провожал поезда.

Малыш, живущий на железнодорожной свалке.

Настя промокнула платком слезу, и тут из тетради выпал листочек. Она подобрала его и онемела.

Минуту спустя, забыв поздороваться с секретарем, она ворвалась в кабинет директора.

Дмитрий Елисеевич был долговым мужчиной с черными, как мазут, усами. Теплишина его раздражала. Давным-давно, будучи завучем, он активно ухаживал за ней, на День учителя, перебрав с шампанским, полез целоваться и получил пощечину. Десятый год не мог простить ей уязвленное самолюбие.

Насколько Теплишина знала, половина коллектива прошла через постель бойкого Дмитрия Елисеевича. А то и все, кроме нее и трудовика.

– Что стряслось, Анастасия Павловна?

Она вручила начальнику листок. От волнения пот выступил у нее на коже под плотно застегнутой блузкой, и она подергала накрахмаленный воротник-стойку. Собственные русые, с проседью, волосы, собранные в идеальный пучок, показались ей чужой лапой на скальпе. Подмывало освободить их от заколок, взлохматить, поскоблить ногтями.

Директор водрузил на переносицу очки, прочел записку. Ровно шесть слов, поразивших Теплишину.

«Моя мама хочет отрубить мне ноги».

– Хм, жестко, – оценил Дмитрий Елисеевич. – Чье художество?

– Мити. Матвея Жука из шестого «В».

– Жука, – директор пожевал усы. – И что это за садистские фантазии?

– Это я и пытаюсь выяснить. Записка была в его тетрадке.

Голос учительницы предательски вибрировал.

– Да вы не переживайте, Анастасия Павловна. Присаживайтесь, – он указал на стул. – Чай не первый год с хулиганами мучаетесь. Видели и что похуже.

– Похуже такого?

Грудь зудела. Теплишина поерзала на стуле.

– А что вы изумляетесь? – мягко спросил директор. – Дети с каждым поколением агрессивнее. Социальные сети, стрелялки кровавые. У нас с вами «Зарница» была, а мой остолоп в «Мортел Кобат» шпилится, слышали? Там не только ноги отрубают, там позвоночник заживо из противника выковыривают, клянусь. Что они делают в Интернете сутками напролет? Убийствами любят, дорогая моя. А сюда приходят не учиться, а покемонов своих ловить...

– При чем здесь Интернет? – захлопала ресницами Теплишина. – У Мити электричества нет. Он же просит нас о чем-то, он...

– Просит? – нахмурился Дмитрий Елисеевич. – Где? Я не вижу никаких просьб. Я вижу бредовую фразу, строчку из песни, может. Песни-то у них тоже, рэп, понимаете ли...

– А вдруг вы не правы?

– Вдруг я не прав, и мама Жука намеревается ампутировать своему сыну конечности? – Директор закатил к потолку глаза. – Жуки – они того, с приветом. Как-то видел старуху их. Страшная как черт. Покупала батарейки – штук сто. Одичали они на свалке, да. Но отрубить ноги! Увольте, Анастасия Павловна.

– И мы никак неотреагируем на это? – Теплишина стиснула кулаки. – А будь это не Жук? Кто-то из нормальной семьи?

Директор досадливо поморщился. Разговор ему надоел.

– Дорогая моя, – он ткнул пальцем в записку, – поверьте мне, это их новая забава. Или чертенок вас разыгрывает. Или...

Учительница сгребла листик, сунула в сумочку.

- До свидания, Дмитрий Елисеевич.
- И вы берегите себя.

В приемной секретарша болтала с молодой англичанкой. «Лярва бездетная», – услышала Настя. Секретарша замолчала на полуслове и одарила Теплишину медовой улыбкой.

Костя Саткевич отирался в Настином дворе. Завидев учительницу, посеменил к ней, щеря пеньки резцов. Чумазый и юркий, он числился в шестом «А», но большую часть времени торчал у заболоченной реки за вокзалом. Удил красноперку, продавал на рынке.

– А я вас жду, – сказал Костя и отдал учительнице раздутый пакет с двухлитровой банкой внутри. – Как договаривались.

Теплишина смущенно посмотрела на соседок возле подъезда, вынула кошелек. Двадцать рублей растворились в карманах заштопанного комбинезона.

- Вы их солите, что ли? – полюбопытствовал Саткевич.
- До понедельника, Костя, – осекла она расспросы.

В пакете, в банке, что-то лениво шевельнулось.

Дома царил привычный кавардак. Мама снова убирала квартиру. Скомкала ковровую дорожку, отдраила пол грязной тряпкой. Сидела на диване, подбочившись, и всклокоченные волосы нежной паутинкой липли к черепу. Зинаиде Григорьевне шел восемьдесят шестой год.

- А где Филипп? – повертелась старушка. – Где мой внук?
- Филипп – сын Иры, – терпеливо сказала Настя. – Пойдем кушать, мам.

У Насти было четыре сестры, но вопрос, с кем Зинаида Григорьевна доживет свой век, решился со счетом 4:1 в пользу младшей. Не завела мужа и детей – возись с мамой.

Они ели гречневый суп на кухне. Зинаида Григорьевна периодически предупреждала дочь:

- Не спеши. Костями подавишься.
- Это не уха, мама, – отрешенно возражала Настя.
- Рыба – вещь опасная. И не ерепенься.
- Я умею есть. Мне сорок три года.
- В сорок три я тебя родила.
- Я в курсе.

Теплишина выглянула в окно, на резвящихся детишек.

– Мам, а ты помнишь семью Жуков?

Зинаида Григорьевна порой забывала, что оправляться нужно в унитаз. Но внезапно она выпрямилась и сказала:

- А как же. И Золушку хорошо помню.
- Золушку? – с сомнением повторила Настя.
- Старуху их. Жива еще, поди. Имечко-то какое, а? Зо-луш-ка. Сказка есть такая, я тебе ее в детстве читала.

- А давно они тут живут?
- Да всегда жили.
- За сортировочной станцией?

– Э, нет. Сортировочную в пятьдесят втором построили. А раньше там лес начинался. Густой лес, ягодный. Они в лесу жили. Северин Жук с сестрой. Родители Золушки.

– Ого, – Настя придвинулась к матери. Когда мама в последний раз говорила так внятно? – С родной сестрой?

Тусклые глаза Зинаиды Григорьевны заблестели.

– С близняшкой, во как. И в грехе страшном Золушку зачали. Северин лихой человек был, он на вечерки приходил и ссорился с соседями нарочно, а кто с ним дрался, тот исчезал. И сам он исчез. Немцы напали, Северина пришли в армию забирать – глядят, нет его. Яма под хибарой выкопана, бездонная. Поаукали и плюнули.

– Я их мальчика учу, – сказала Настя, – он записку оставил. Мол, мать его покалечить хочет. Шутит, наверное.

– Жуки не шутят, – заявила старушка. – Стало быть, покалечит, непременно покалечит. Они же плодятся как зайцы, а жуют своих куда девают? То-то же.

Старуха вытерла салфеткой беззубый рот.

– Где Филипп? – спросила она.

В спальне Теплишина разделась догола и достала из пакета, из двухлитровой банки, упитанную серую жабу. Пупырчатое тело набухало и съеживалось, холодное, скользкое. Возникла неуместная мысль, что в христианстве жаба фигурирует как одна из персонификаций дьявола. Дракон, зверь и лжепророк выблевали трех духов, подобных трем жабам...

Существо квакнуло недовольно. Настя провела окслизлым комком по животу, по затвердевшим соскам, между грудями. Губы шептали неразборчивые слова, быстрее и быстрее, пот капал с ресниц. Пальцы сжались капканом, хрустнули косточки, глазки жабы вылезли из орбит, выплеснулась кровь и воняющие тинной внутренности. Жижа обрызгала Настю, а потом к крови, кишкам и поту добавились ее слезы.

В небе не было ни облачка, и птицы щебетали, порхая над малинником. Струилась мелкая речушка, но спуститься к воде мешала осока, пищащий комарами камыш и мусор. Замшелые фермы пестрели руганью и номерами телефонов легкодоступных дам. Под ними покрывки и фанера образовали дамбу.

Май выдался знойным. Часы показывали восемнадцать ноль-ноль, но жара не спадала. Теплый ветер ласкал лодыжки, теребил подол платья. Шуршала щебенка. Сумочка норовила выпасть из взопревшей ладони. Настя миновала мост, границу, отделяющую город от прилегающих ничейных территорий. Бурьян, укутавший рельсы, вынудил сойти с путей на обочину. Пять минут ходьбы – и она застыла, ошеломленная пейзажем.

Перед ней простирался могильник, где трупы не хоронили, а бросали под палящим солнцем, под проливными дождями и колким снегом. Мертвецами были отслужившие свое, списанные поезда.

Ржавые, осыпавшиеся деталями, разобранные до платформ. Ветер гулял в остовах кабин, в бледно-зеленых товарняках, в скособоченных, зияющих прорехами вагонов. Всюду топорщились прутья, железки, доски.

Из цементной трубы у подножия холма хлестала, пенясь, вода. Промышленные ручейки, рыжие, как скелеты поездов, змеились по жутковатому пустырю. Гнетущую тишину нарушала воронья перебранка. Птицы оккупировали стрелу подъемного крана, гнездились на крыше заколоченной будки у недействующего переезда.

Унылая картина вгоняла в ступор.

Здесь живет Митя? Уж лучше в лесу...

Настя окинула пристальным взором бывшую сортировочную станцию и заприметила фигуру у громоздкого ковша. Мужчина в камуфляжных штанах и вылинявшей рубашке подбирал дохлых ворон и складировал в ковш.

– Молодой человек! – Настя сошла гравийной тропкой к железнодорожному кладбищу. Осколки пронзали подошвы сандалий. Запах тухлой рыбы въедался в поры.

Мужчина был лыс и бородат, асимметричен, как портреты Пикассо. Мутные глаза безразлично мазнули по госте.

Тук! – полетела в ковш мертвая птица.

– Добрый вечер. Я ищу маму Матвея Жука.

Вяло шевельнулась кустистая бровь.

– Я учительница Мити.

Лысый поднял к лицу правую руку, и Насте стоило серьезных усилий не отпрянуть. Вместо кисти у мужчины был крюк, похожий своей спиральной формой на нагревающий элемент советских кипятильников. Такой же крюк заменял левую кисть.

– Я Митин дядя, – сказал инвалид. Слова вязли в спутанной бороде. – Идите за мной.

Настя выдавила улыбку. Как последнюю запятую зубной пасты из согнутого в три погибели тубика.

И побрела за мужчиной параллельно локомотивным путям. Гудели высоковольтные столбы вдаль. Вороны вспархивали в небо черным фейерверком.

С нарастающей тревогой Настя озиралась на руины депо, перевернутые и обугленные составы, на тонущие в лужах вагонные тележки. Клетка товарняка раскололась. С перил и лесенки шелушащегося тепловоза свисал ил.

– Вы Коля? – догадалась она. – Вы учились у меня в девяностых.

– Ага, – равнодушно сказал инвалид.

«Господи, – подумала Теплишина, – этот парень загрыз морскую свинку».

– Что с вашими руками? – осмелилась спросить она.

– Несчастный случай.

Кирпичная постройка с вентиляционной трубой, вероятно, была надземной частью погреба. Двери украшал причудливый рисунок углем: некто с телом лягушки и неотделимой от туловища башкой. Лапы уродца венчало что-то вроде звезд или медуз. Звездой с пятью лучами был его кричащий рот. При всей примитивности рисунка Настю передернуло от отвращения, и грудь под платьем засвербела.

Коля словно бы поклонился намалеванному существу.

Теплишина снова помянула имя Господа. Она увидела забор и дом под сенью яблони. Сарай и курятник. Мигающий лампочкой генератор. Обычный сельский дворик, если бы не марсианский кошмар вокруг. И не плацкартный вагон во дворе. Вагон был целым и обжитым, с сиреневыми занавесками на оконцах.

Около него на деревянной колоде две женщины лутили грецкие орехи. Худощавые, сутулые, с мышьиными мордочками. Та, что помладше, была беременна. Пятый-шестой месяц.

– Галя, – окликнул инвалид, – к тебе учительница.

Женщина лет тридцати пяти привстала, морщась. В спортивных штанах и футболке с фотографией певиц из «Спайс герлз». Приблизилась, и Теплишина рассмотрела задубевшие шрамы на смуглых костлявых предплечьях.

Настя представилась.

– Вы по поводу моего балбеса? Что он натворил?

– Я просто хотела с вами познакомиться.

– Ну что ж, – сказала Галя, – пройдем в дом.

Настя приготовилась узреть опутанное паутиной логово, под стать обитателям свалки, но очутилась на вполне типичной деревенской кухоньке с цветочным орнаментом обоев, низким потолком и печью. Вешалка у порога, за ней плита, газовый баллон, потрескавшийся шкафчик. В центре – стол, на клеенке – солонка и перечница. Под столом – шеренга банок.

Печь закрывала фиалковая штора, но Настя заметила фрагмент рисунка на глиняном боку.

Две запертые двери вели вглубь дома.

«Не так катастрофично», – подумала Настя.

– Ну? – весьма грубо напомнила о себе Митина мама.

– Гм, да. Митя. Хороший мальчик. Прилежный. Не все выходит у него сразу, но при определенной помощи. С моей и вашей стороны...

– Я была против школы, – сказала Галя, потупив блеклые глаза. – Мой брат ходил в школу, потому что так велит закон. Но у нас свой закон. И брат ничему не научился там. Дети не любили его. Мы отличаемся от прочих.

– Галина, – произнесла Теплишина, отойдя от шока. В голосе ее клокотало возмущение, – ваш брат мог получить аттестат, окончить училище, найти работу. Он не стал бы инвалидом.

Галя ухмыльнулась зло. Сверкнула золотыми коронками.

– Брат имеет то, что и не снилось вам. Мы счастливы здесь.

– Возможно, – смягчилась Настя, – но Митя – ребенок. И он другой. Он славный парень, ему необходимы знания, образование, профессия, простор. Эта добровольная изоляция, – учительница обвела жестом кухню, – эта резервация без электричества...

Митина мама покачала головой.

– Мы поселились тут, когда еще не было вашего города. Это вы загнали нас на свалку. Спилили лес. Построили мост и дорогу, а после бросили их ржаветь. Вы изгадили землю моего деда. А теперь вините нас, что мы живем на помойке?

– Я не... – Настя запнулась. Монолог Гали смотрелся бы естественно в фильме об индейцах, отчеканенный вождем Оленья Скала. – Я понимаю. Но мальчик не вырастет полноценным на сортировочной. У него уже появляются странные идеи. У него нет друзей.

– Ошибаетесь, – фыркнула Галя, таращась на дощатый настил пола, – у него будет много друзей. Он уезжает.

– Что? – встрепелась Теплишина, – куда?

– К родне. Там... там гораздо чище.

– А школа?

Галя продемонстрировала госте сутулую спину. С футболки улыбались молоденькие Мелани, Джери, Эмма и Виктория. Зазвенел чайник, щелкнув, зажглась конфорка.

Настя прокашлялась, собираясь с мыслями. Она была убеждена, что бездельники из области, от санстанции до службы опеки, разворошат жучиное гнездо. И она костями ляжет, чтобы ускорить процесс.

– Девушка во дворе – ваша родственница?

– Мы все, – прокричала Галя, – родственники.

«Не сомневаюсь», – черство подумала Настя, а вслух сказала:

– Она состоит на учете в роддоме? Где она будет рожать?

– Мы не бомжи, – Галя ошпарила учительницу пренебрежительным взглядом. – У нас есть паспорта и прививки, и разные полезные навыки. Но наши ценности... находятся глубже ваших. Эта земля оберегает нас от зевак, ваших врачей и чиновников.

– И что это объясняет?

– Вы не поймете. Будете пить чай?

– Нет, спасибо. Мне надо поговорить с Митей.

– Позже.

– Сейчас же, – потребовала Настя. Грудь невыносимо чесалась, но она не обращала внимания.

Галя пожала острыми плечами и молча вышла из избы.

Настя покосилась на фиалковую шторку. На уголок рисунка. Шагнула вперед, отдернула шторку, обнажая белую громадину печи.

Глиняную поверхность от лежанки до зольника опоясывал ровный круг и второй, поменьше, вписанный в его сердцевину. Внешний круг щетинился деревцами, схематичными елями. Наружу – кроны, корни внутрь.

«Планета в разрезе», – озарило Теплишину.

В маленьком круге, в условном земном ядре, сидело знакомое Насте чудовище с пастью-звездой и звездами-лапами. Зона между кольцами была испещрена подобием туннелей, по ним к существу ползли крошечные черные фигурки.

У фигурок отсутствовали ноги.

Засвистел чайник, Настя вздрогнула от неожиданности. Узловатые пальцы вцепились ей в волосы.

Учительница заверещала. Сердце ухнуло в пятки. С печи свешивалась рука, тощая и дряблая, заляпанная пятнами лишая. Клешня с силой тянула вверх, и Насте пришлось встать на цыпочки. Скальп горел огнем. Из темноты на нее смотрели пышущие ненавистью глаза. Старуха чавкнула ввалившимся слюнявым ртом. Не голова, а череп, драпированный желтым пергаментом. Золушка.

– Нет, мама! – заорала, врываясь на кухню, Галя.

Старуха продолжала тащить к себе жертву. Лицо Насти уперлось в глину, и угольный человечек отпечатался на ее щеке.

– Мама, не смей!

Клешня с неохотой отпустила шевелюру госты и убралась во тьму.

– Заройте меня, – прохрипела старуха, – положите меня в домовину без дна.

– Вы как? – Галя потормошила перепуганную Настю. Та отплевывалась и тяжело дышала.

– Нормально, – наконец вымолвила учительница. Привела в относительный порядок платье и прическу. Даже сумела улыбнуться.

Галя зашторила печь, спрятала безумную старуху и рисунок.

– Мама не в себе, – сказала она извиняющимся тоном.

– Моя тоже, – вздохнула Настя.

Галя выключила кипящий чайник.

– Митя на улице. Он проводит вас до моста. Вам пора. Передайте тем, кто вас послал...

– Никто меня не посылал, – обронила Настя устало. – Никто не знает, что я к вам ходила.

Мальчик топтался у курятника. Исподлобья взглянул на учительницу.

– Пойдемте, – сказал он едва слышно.

Они двинулись к поселку, огибая лужи и груды металлолома.

Первой заговорила Теплишина:

– Мама сказала, ты уезжаешь.

– Да, – подтвердил Митя невесело, – к прадедусшке.

– Ты сам этого хочешь?

– Да, – буркнул он. «Нет» – закричала каждая его клеточка.

– Ты не обязан бросать учебу.

– Я... – мальчик набрал полную грудь воздуха. – Я думал, прадедусшка меня не пригласит. Я слишком не похож на братьев и сестер, которые живут с ним. – Он вперился в рыжую землю. – Всегда нужен тот, кто охраняет погреб, и я планировал остаться. Как мама, как дядя Коля. Но прадедусшке понравилось, как я рисую.

Митя нервно улыбнулся.

– Ты нарисовал ту картинку на печке?

– Ага.

– У тебя талант.

Он понуро хмыкнул.

– Где живет твой прадедусшка? Это далеко отсюда? Ты мог бы учиться в его городе.

– В его городе нет школ.

Настя вспомнила существо с пятиконечными звездами лап. Митя настолько боится переезда, что представляет прадеда монстром?

– Расскажи о прадедусшке.

– Все мечтают быть с ним. Он... как король. Его пригласили те, кто раньше жил внизу, пригласили править страной Миллиарда Корней. Он...

– Митя, – перебила учительница детские небылицы. Они встали у гниющего маневрового тепловоза. Настя собиралась спросить про записку. Но вместо этого спросила: – Почему у человечков на рисунке нет ног?

– О, – его лицо посветлело, как лицо испытуемого, которому в кои-то веки задали вопрос с несложным ответом. – Внизу очень тесные норы. Ноги мешают. И это гостинец для прадедушки Северина.

– Митя, ты должен пойти со мной.

– Нет, – в ужасе прошептал мальчик.

Вороны снялись с крана, черные стежки на холсте вечеряющего неба.

– Мы обратимся в милицию, в специальные инстанции, мы...

Рев двигателя стегнул по ушам, взорвал тишину сортировочной. Настя обернулась. По пустырю тарахтел мотоцикл. Митина мама нахохлилась над рулем, в коляске восседал Коля Жук.

– Что проис...

В последний момент до учительницы дошло, что они не притормозят. Она отскочила, и пригоршня щебня оплескала ее, ужалила бедра. Туча пыли покатила за «Явой». Мотоцикл разворачивался.

– Спасайтесь! – воскликнул Митя и нырнул под тепловоз. Настя кинулась вдоль огрызка путей. Сандалии набивались камушками, от страха сводило челюсти, и кислород в легких обретал свойства колючей проволоки.

Мотоцикл догонял. Коля выпростал культю, целя протезом. «Ява» поравнялась с Настей, но беглянка вильнула влево, и крюк чиркнул у ее виска, намотав и выдрав клочок волос. Адреналин заглушил боль.

Настя ринулась к мосту, до него было метров пятьдесят. Сзади ревел мотор мотоцикла. Не успеет. Боже, не успеет!

Она споткнулась, выпустила сумочку, плюхнулась в лужу. Треснуло по швам платье. Захлебываясь слезами, учительница поднялась на ноги.

Клубы пыли наплывали. Крюк протягивался к ней, ближе, ближе.

Неужели это действительно происходит?

Настя метнулась на перекошенную платформу дрезины. С подола лилась грязная вода. «Ява» проскользнула в полуметре от нее и пошла на новый круг.

Не мешкая, Настя спрыгнула с дрезины, побежала мимо ржавого товарняка. Вернее, ей казалось, что она бежит. Ручейки преграждали дорогу ковыляющей учительнице, за ребрами товарняка мелькал мотоцикл.

Он выскочил из-за угла, вздыбился диким зверем. И устремился к Насте на предельной скорости. Она не моргала, парализованная, загипнотизированная. Сдавшаяся.

В пыли сформировались сосредоточенные морды Жуков.

Настя уже различала веснушки на носу рыжей солистки «Спайс герлз», когда земля под преследователями просела и мотоцикл уткнулся в край ямы, взбрыкнул задними колесами. Коля вылетел из коляски, кувыркнулся, теряя протезы. Врезался всей массой в торец тепловоза. От удара его брюхо лопнуло, и на нагретый за день металл шлепнулись желтые комки жировой ткани, напоминающие пузырящуюся икру.

Ноги Насти подогнулись, она стукнулась ягодицами о железный хлам. Наблюдала сквозь слезы, как вокруг материализуются тени. Приземистые дядя Мити шагали к ней, вооруженные ножами и тесакими. Разглядела она и беременную женщину с огородной сапкой наперевес.

Они обступали, молчаливые, мрачные.

Соппротивление бесполезно. Настя всхлипнула. Лезвия начали взмывать к закатному небу.

– Стойте!

По пустырю хромала Галя. Правая сторона мышинной физиономии была стесана до мышечных волокон. Кровавые клочья болтались у скулы.

Галя наклонилась над учительницей. Рванула воротник, стащила платье к талии. Настя прикрыла ладонями лицо.

Жуки уставились на ее грудь в испачканном бюстгальтере, на кольчугу, в которую ее облачила природа. Бородавки усеивали кожу от ключиц до пупка: скопление твердых наростов, размером с ноготок, они облепили вершины молочных желез, как дополнительные уродливые соски.

Настя разрыдалась. Униженная. Исполосованная копошащимися по ее наготу взглядами.

– Шершавая, – процедила Галя тоскливо и коснулась собственного израненного предплечья. – Северину придется по душе.

Рукоять тесака обрушилась на макушку учительницы, и обморок избавил ее от позора.

В забытии она видела Дмитрия Елисеевича. Директор школы зачем-то надел футболку с принтом лондонской девчачьей группы. Он щекотал Настин живот, и каждый волосок его усов был иглой шприца.

– Это обезболивающее, – пояснял он голосом Гали.

Жабы с зубами-кинжалами кромсали ляжки.

– Целка, – сказал Дмитрий Елисеевич удивленно.

Потом Настю несли через дверь с пастью и лапами-звездами, по ступенькам в прохладную мглу, и Митя бежал следом, умоляя пощадить ее, но кто-то из Жуков отпихнул мальчика.

Была еще огромная дыра, и запах сырой земли, и храп.

«Это мама храпит», – подумала Настя, успокаиваясь.

Маленькие ручки потрогали ее, поволокли сужающимися туннелями.

Корни царапали забинтованные обрубки, но Настя не ощущала боли.

Слепые подушечки пальцев вчитывались в шершавую плоть, как в текст Брайля.

Настя закричала, а ледяные пальцы стали читать ее десна и язык.

Глубоко внизу что-то ворочалось и нетерпеливо храпело.

Ночь без сияния

Это видео Люда Белиникина показала коллегам три дня назад. Коротенький ролик с «Ютуба», тридцать пять просмотров – явно не то, о чем мечтал загрузивший его пользователь. Разобрать что-то было непросто, середина марта – а клип датирован прошлой субботой – отметилась ураганами, ветер дул со стороны Белого моря, лютый, пробирающий до костей даже обывкшихся северян. Картинку затушевала вьюга, к тому же у оператора тряслись руки – то ли от холода, то ли от предвкушения легкой интернет-славы. В общих чертах содержание ролика сводилось к тому, что по улице, кутаясь в метель, брела темная фигура, и Демид Клочков, зевнув, обозначил ее термином «какая-то хрень».

– Ничего не замечаете? – Люда прокрутила видео заново, и на экране «андроида» замельтешили снежинки.

– Ну, мужик в шубе, – сказал Клочков.

– Да ты к фону присмотришься! Вон труба, вон вывеска Сбербанка. Это же напротив нашего магазина снято.

– Точно! – воодушевился Клочков. – Хоть чем-то прославимся. Даст Бог, табличку мемориальную повесят: «По этой улице весной две тысячи шестнадцатого ходил дядька в шубе».

Белиникина хихикнула и игриво шлепнула сотрудника по плечу. Один Ваня Григорьев не смеялся. Худой и бледный, он работал в магазине «Северянка» второй месяц и прослыл пареньком замкнутым, от которого не добьешься лишнего слова. Зато справлялся отлично, при своей щуплости и низком росте давал фору мускулистому Клочкову. Ильин, хозяин «Северянки», нарадоваться не мог. Да и где вы еще отыщете грузчика-трезвенника?

Вернувшись в тот день домой, Ваня включил допотопный компьютер и позвал деда.

Старик долго глядел на монитор слезящимися глазами.

– Чучун это, – был его вердикт, – абаасы кыла. Разбуженный, злой. Где его сняли, Уйван?

– На Аляске, – сказал парень тихо.

Дед поковылял в спальню, по-якутски благодаря богов верхнего мира за то, что не пускают к жилищам людей существ из мрака.

Через три дня ту же молитву читал Ваня, таская ящики со склада.

Щедрые проектировщики отвели под торговую зону первый этаж хрущевки, и помещение магазина тянулось на десятки нефункциональных метров, повторяя в миниатюре историю всего городка. Отгремели фанфары, отжили свое энтузиасты-покорители Русского Севера. И добыча циркониевого сырья оказалась не таким уж перспективным занятием. В заполярном городке, рассчитанном на сто тысяч жителей, обитало тысяч двадцать. Молодежь уезжала: кто в Мурманск, кто на континент, и снег заносил пятиэтажки, как заносил ранее срубы вымерших хуторов.

Тайга нависала над оплотом цивилизации, по горизонту щетинились соснами грозные утесы. Они вздымались силуэтами мамонтов, окружали городок. К ледяным далям, к вечной мерзлоте ползли облака. Здесь, среди редких фонарей, среди пятиэтажек с пятью-шестью горящими по вечерам окнами, люди смотрели ток-шоу, общались в социальных сетях, старались не отставать от большой земли. А совсем близко шуршал кронами вековой лес, кричало и охало в валежинах, и тени плавно скользили меж лиственниц; под их лапами пружинился губчатый мох, проваливался снег, испещренный глухаринной клинописью, хрустела хвоя. Порой они вылезали из дебрей, неправильные тени.

И тогда кто-нибудь пропадал. Или находили, например, фуру с распахнутыми дверцами кабины, а водителя находили чуть позже. В омуте под руинами мельницы. Мельничное колесо и плотина поросли илом, и дальнобойщик, как мумия, тиной обернут, и еловая шишка в

горле. Зачем-то понадобилось ему, дальнобойщику, покинуть машину, топтать по рыжим от стоячей воды бочагам к бору, к мельнице, – наверное, голубики отведать хотел. Голубика в этих краях вкуснейшая.

– А кто, – спрашивал дед Ваню, – в болотцах и озерах живет?

– Аглулики, – отвечал, как на экзамене, представляя осклизлых рыболодей, – и сюлюкюны.

Дед хвалил, довольный. А мать слишком уважала старика, чтобы перечить, что, мол, тринадцать лет мальчишке, взрослый для сказок, и XXI век на дворе. Оно-то двадцать первый, но вот ткнешь по сосенке топором, а из нее сочится красная медовая живица – кровь иччи, что в стволе жил.

– Иччи хорошие, – рассуждал школьник Ваня. Друзья резались на «икс-боксах» в «Pro Evolution Soccer» и «Prototype». Он предпочитал лес, компанию всезнающего деда. Пьянящий запах грибов, прелых листьев, гниющих деревьев, аромат осеннего увядания.

– А кто плохие? – шурился старик.

– Призраки-абасы, – мальчик загибал пальцы, – и юеры, якутские упыри. Ангъяки, злые души младенцев, и оборотни ийраты. Они в полярную лису превращаются и в оленей-карибов. И чучуна, конечно.

Если обнаруживали примятые соцветия козлобородника, Ваня говорил, что это Инупа-сукугьюк прошла. А если дохлый олень на таежной гари попадался с перевязанными тальником копытами – что Мээлкээн охотился.

Мама опасалась, что после дедовых баек мальчика будут мучить кошмары, но спал он спокойно, лишь однажды демоны потревожили сон: Махаха, самый страшный из них, гнался по лесу за Ваней, безумно хохоча и чиркая железными когтями. Звук был такой, словно точат лезвие о лезвие. Во сне Ваня спрятался под облепихой и наблюдал, как Махаха рыскает по поляне, с синей кожей и выпученными бельмами, и высекаемые когтями искры – чирк-чирк-чирк – тают в темноте.

Когда Ваня заканчивал седьмой класс, у матери диагностировали рак мозга. Не спасли ни врачи, ни заклинания-аглысы. Она наглоталась таблеток накануне химиотерапии. Ваня не плакал на похоронах и погода спросил у деда, не возвратится ли мать в облики деретника, кровожадного зомби?

– А мы ритуал проведем – не возвратится.

Славно сработал дедовский ритуал.

– Эй, Иван! – окликнул парня Ильин. Начальник был грузным мужчиной с проседью в бороде. – Поди-ка сюда.

Флуоресцентные лампы лили экономный свет на полупустые прилавки. Люда расставляла товар так, чтобы занять хотя бы половину полок. Покупатели не толпились в просторном зале – постоянным клиентом было эхо, гулко отражающееся от дальних, скрытых тьмой углов. В квартирах над магазином жили с полдюжины семей, и те посещали современный супермаркет по соседству. Впрочем, единодушно доверяли «Северянке», приобретая мясо. Магазин снабжали охотники, и оленина была высшего сорта.

– Шабашим, – сказал Ильин, доставая из пакета фрукты и контейнеры с салатами. Люда ассистировала ему.

– А что за повод? – потер руки Демид Клочков, мясник.

– День рождения у меня вчера был.

– О, отец, ну, за такое и выпить не грех! Ванька, да брось ты ящики свои.

От алкоголя Ваня отказался. Соврал, что антибиотики принимает. Чокались без него: мужчины – алюминиевыми походными рюмками, Люда – пластиковым стаканчиком с вином. Ваня ел мандарин, очищал сосредоточенно и медленно прожевывал дольки.

Сдержанно улыбался анекдотам и исподтишка поглядывал на Люду.

Она была слегка полноватой, но симпатичной, с пышными формами и смоляными, до локтей косами. Пару раз она снилась Ване, голая, лежащая на палой, в шафрановых разводах, листве. Голодная, сладкая, как перезревшая брусника. Проснувшись, он застирывал плавки в ванной.

Первая бутылка прикончена. Ключков отлучился домой сказать жене, что припозднится. Мобильная связь сбоила. Обычное дело в их глуши.

– Простите, – встал из-за стола Ваня, – я собак покормлю.

Услышал в дверях вопрос Люды:

– А он кто? Казах?

– Якут, – сказал Ильин. – У него дед, говорят, шаманом на родине был.

Над гольцами, над тундрой, над урочищами и ручьями плывет глаз. Имя ему Иститок, размером он со спутник, ресницы пятиметровые. Иститок все видит: каждую былинку, каждую ягоду и каждый грех людской. Строго наказывает нарушителей. Ийратов насылает и кого похуже. Ванин дед узрел Иститок, отбывая срок в лагерях. Потому у него зрение особое, и у Вани по наследству тоже.

На улице безлюдно. Единственный автомобиль – припаркованный «мерседес» Ильина. В домах спят давно или умерли. За придорожным буераком – пустырь, неоновые вывески «Сбербанк» и «Танцевальная школа». В белесое ночное небо дымит труба районной котельной. Свет колченогого фонаря будто затвердел, кристаллизировался игрушкой с острыми гранями, пучком оранжевой проволоки.

Ваня вдохнул колючий воздух. Поддел ботинком собачью миску. Мясо в ней заиндевело, припорошенное снегом. Парень нахмурился, озирая пустырь.

– Найда! Отшельник! – посвистел, но дворняги не отозвались привычным радостным тьяканьем. Он перевел взгляд на холмы вдаль, черные пики сосен, впившиеся в небосвод. Контуров тайги с ее причудливыми тенями.

– Не помешаю? – спросила Люда, появляясь на пороге. Щелкнула колесиком зажигалки. Огонек озарил ее хорошенькое личико в пещере капюшона. – Как думаешь, сегодня будет северное сияние?

– Вряд ли, – ответил он и засунул руки глубже в карманы.

– Раньше во время сияния по городу парочки гуляли, – произнесла она мечтательно. – Только по нему и буду скучать, когда уеду.

– Уедешь?

– Ну, рано или поздно. – Люда затянулась сигаретой. – А у тебя девушка есть? – сменила она внезапно тему.

Ваня качнул головой.

– Странно. Ты нормальный парень, серьезный. Такие женщинам нравятся.

«Правда?» – едва не вырвалось у него.

По пустырю, со стороны высохшего ручья, торопился Демид. Он махал шапкой и что-то кричал.

– Чего это с ним? – Люда затушила окурок об ободок урны. Недоброе предчувствие захлестнуло Ваню, хотя мясник и улыбался во все зубы и вроде посмеивался на ходу.

– Кличьте Ильина! – сказал он, привалившись к фонарю.

– Что случилось? – спросила Люда.

– Фух, – Ключков сплюнул в сугроб. – Мужик этот... ну, с ролика. Волосатый. Он у гаражей. Да не стойте вы как истуканы. Идем снимать его, говорю.

Мясник шагал впереди. За ним – заинтригованные Ильин с Белинкиной. Люда несла под мышкой початую бутылку вина. Замыкал шествие Ваня. Точно друзья, спешащие полюбоваться фейерверком.

«Это не он, – размышлял Ваня, – не чучун. Неделью ему в городе не прожить, пусть и в таком. Засекли бы...»

«Засекли же, – сказал внутренний голос, – и на мобильник сняли, и тридцать пять человек просмотрело. Людям начхать, люди слепые».

– А почему охотники его не встречали? – интересовался мальчик у деда. – Он же из плоти и крови.

– Ты про чучуна? Почему же, встречали. Кто до нас жил. Как города строить стали, они в нижний мир подались. Они могут между мирами шастать. А к нам приходят женщин наших похищать. Самок-то у них нет.

Тропинка сбегала в овраг. На склонах располагались гаражи, дорожки петляли к руслу высохшего ручья. Здесь царило запустение. Гаражный кооператив обратился в свалку, кирпичные коробки облепил спрессованный серый снег, из которого проклевывалась арматура. Тоскливо ржавел увязший в сугробе фургон – порождение ереванского завода.

– Блин, Демид, я замерзла, – пожаловалась Люда.

– Ага, – поддакнул Ильин, – побаловались – и хватит. Водка стынет.

– Ван момент! – Клочков ловко запрыгнул на крышу приземистого гаража. – Ну где ж ты, гад? – и цыкнул через мгновение: – Сюда, ребя!

Беззлобно ругаясь, Ильин вскарабкался к мяснику по снежному пандусу. Вскоре все четверо очутились на крыше.

Хилые хозяйственные постройки засоряли белое поле окраины. Оно упиралось в костлявый подлесок, в заграждение кустарника, за которым колыхался на ветру березняк, а выше по холмам вздыбились темные сосны.

– Красиво, – сказала Люда.

– Тише, – прошипел Клочков, – вон там.

– Что за черт? – ахнул Ильин.

Оно сидело на корточках у гаража, спиной к людям. Даже сгорбившись, оно впечатляло габаритами, шириной плеч. Густая шерсть была по-медвежьей бурой, но это определенно был не медведь. Тело сужалось к ягодицам, спутанные космы ниспадали до лопаток.

– Обезьяна? – спросила Люда, когда шок миновал.

– Да какая обезьяна, – поморщился Демид. – Снежный человек. Долбанный бигфут.

Пискнула, включаясь, видеокамера на телефоне Клочкова, объектив зафиксировал недвижимую фигуру. Существо сливалось с грязным снегом, с кирпичными стенами. Ворота гаража справа от него были взломаны, угол отогнут.

«Его гнездо», – промелькнуло в голове Вани. Он шепнул Люде:

– Надо уходить.

Она не слушала. Таращилась зачарованно на коричневую спину, кучерявый мех.

– Оно вообще живое? – усомнился Ильин.

– Дай-ка, – не сводя с существа камеры, Клочков отнял у Люды бутылку. Хлебнул из горлышка и, прежде чем коллеги опомнились, метнул бутылку вниз. Снаряд ударил о землю рядом с косматым, вино окропило шерсть длинной пошевелившейся лапы.

Оно обернулось. За паклей волос сверкнул красный глаз.

– Ух! – выдохнул Клочков, пригибаясь. Остальные как по команде упали на колени, затаились.

Клочков захихикал беззвучно.

– Может, действительно пойдём? – с тревогой предложил Ильин.

– Ага, но сперва рожу его сниму.

Демид начал подниматься, коллеги вытягивали шеи над краем крыши. Сердце Вани кололось бешено, кожа под зимней одеждой взмокла. Он шарил взглядом, ища силуэт чучуна в конце дорожки...

Существо стояло под ними, невероятно уродливое и огромное. Крошечные глазки сверлили людей.

– Господи, – промолвил Ильин.

Чудовище распахнуло пасть, и в ее алой воронке блеснули клыки. Грудной рык повис в морозном воздухе. Люди отпрянули, а потом побежали.

Замедлили шаг у «Северянки».

– Черт тебя возьми, Демид! – простонал запыхавшийся Ильин.

– Придурок! – добавила Люда.

– Снял! Снял обезьяну! – приговаривал Клочков.

– Откройте магазин! – крикнул Ваня начальнику.

– Да не преследует он нас, – массируя грудь, сказал Ильин и швырнул молодому грузчику ключи.

Тот завозился с замком, то и дело оглядываясь.

– Готовьтесь давать интервью «Первому каналу», – сказал торжествующий Клочков.

Кровь похолодела в жилах Вани. Чудовище мчалось по пустырю, почти касаясь снега передними лапами. Волосы развевались вокруг бурой оскаленной морды.

– Быстрее! – умоляла Люда.

Периферическим зрением Ваня заметил, что Ильин семенит к припаркованному у фонаря «мерседесу».

– В машину! – орал предприниматель.

Засов клацнул, отпираясь. Ваня ввалился в магазин и помог Люде. Существо добралось до вывески Сбербанк. Миг – и оно будет на проезжей части.

Клочков растерянно смотрел то на автомобиль, то на магазин. Предпочел второй вариант. Пулей влетел в помещение, и Ваня захлопнул дверь. Одновременно взревел автомобильный двигатель, колеса шаркнули по асфальту, извещая, что и начальник вышел из передраги невредимым.

Ваня уперся в подоконник и смотрел на улицу. Пространство перед магазином было пустым, словно волосатый урод им померещился. Групповая галлюцинация, не больше. Мирно клубился дым над трубой, светились неонами вывески.

– Я чуть не обделался, – сообщил Клочков и рассмеялся.

– Ты чего ржешь? – взвилась Люда. – У него же зубы, как сабли!

– Да ладно, – фыркнул Клочков, – мы бы отметили тупую макаку втроем. Верно я говорю, Ваню?

Ваня проигнорировал вопрос. Прильнул к стеклу, бормоча:

– Где же он?

– Ну и что теперь? – спросила Люда, пряча бесполезный телефон. – Ни одной черточки.

– Классика, – осклабился Клочков, направляясь к столу. Он плеснул себе водки в рюмку и вооружился бутербродом. – Эй, Антибиотик, ты не передумал по поводу беленькой?

– Козел, – ответила за Ваню девушка.

– Да чего вы, ей-богу. Ильин на полпути к полицейскому участку. И соседи наверняка видели что-то и позвонили...

– Куда? – не унималась Люда.

– А куда звонят, если медведь в город забредет или рысь? Есть службы...

– Это не рысь была и не медведь. А мутант какой-то... Сне... – Люда взвизгнула и прижала руки к щекам.

– Мать твою, – сказал Клочков.

Существо смотрело на них снаружи. Его огромная голова занимала треть зарешеченного окна.

Дед рассказывал Ване про такрикасиутов – людей из параллельного мира. Сами по себе они не представляют угрозы, но услышать их означало бы, что ты вплотную подошел к черте, что стенки реальности истончились и ты покидаешь известные тебе пределы. Ване, замершему в метре от чучуна, казалось, что предупреждающий гомон такрикасиутов вот-вот взорвет барабанные перепонки.

Великан зарычал, трогая прутья решетки. Покатый лоб, приплюснутый нос, массивная челюсть. Он походил на первобытного человека из учебников, которому нерадивый школьник пририсовал ужасающие клыки и заштриховал морду коричневым фломастером.

Шерсть на торсе существа слиплась, красный сироп стекал по подбородку. Лохмы болтались дредами.

– Ты же понимаешь, что дедушкиных монстров не бывает взаправду? – спросила как-то мать.

– Чучун, – произнес Ваня, отступая в зал.

– Знакомый? – осведомился Клочков.

– Их еще мюленами зовут, – говорил дед, – или «абаасы кыыла», зверями абасов. А тунгусы – хучанами. Юкагиры зовут «шегужуй шоромэ», убегающими людьми. А русские старожилы – худыми чукчами.

– Чучун, – повторил Ваня. – Так якуты называют йети.

Йети и чучун – смешные, дурацкие клички, никак не подходили хищной твари, что застила собой окно.

– В старомодном ветхом чучуне, – сказал Клочков и залпом осушил рюмку.

Люда заныла:

– Почему оно на меня пялится?

Глубоко посаженные глазки вперились в девушку поверх Вани. Алчные, налитые кровью. Толстые губы искривились, вытянулись трубочкой. Затрепетали ноздри.

Люда переместилась к прилавкам. Глазки проводили ее.

– А ты ему понравилась, – сказал Клочков, обновляя рюмку. – Красавица и чудовище.

– Очень забавно, – огрызнулась девушка.

Великан перешел к дверям «Северянки». Поглядел сквозь стеклопакет. На оконце в пластиковом полотне не было решеток, но для существа оно было маленьким.

– Заберет тебя, Людочка, в тайгу, – глумился Клочков. – Или в гараж. Или откуда оно там выползло.

– Из нижнего мира, – сказал Ваня, и под потолком мигнули лампы.

Люда поежилась.

– В легендах говорится, что они блуждают между мирами.

– Миры, Людочка. Ты же хотела из нашей глухомани смотаться.

Высоко в горах, в ледяной пещере, обитает Улу Тойон, бог смерти. Черным туманом спускается он в долины, чтобы разрушать леса и истреблять деревни. Ураганы – это Улу Тойон. Блезнь скота – это Улу Тойон. Одержимые демонами медведи – его рук дело.

Будь проклят древний бог, с чьего позволения разгуливают по пограничью гиганты чучуны.

Ваня проскочил мимо Клочкова, в холод складского помещения. Боковая дверь выходила на тупиковый переулок среди домов. Фактически он зигзагом вел в пасть чудовища. Покачивались мерзлые олени туши на крюках, их тени плясали по кафелю. Шуршал полиэтилен. Парень ощупал лежащие на полках инструменты. Электрический нож, незаменимый при распиливании замороженного мяса. Топорики, молоток.

– Эй, Иван! Чучундра слиняла!

Ваня разодрал карман своей куртки так, чтобы поместился электрический нож. Зачехленное лезвие высывалось из дыры. Он отобрал два тесака покрупнее.

В зале Клочков уминал салат и тихонько посмеивался. Угрюмая, напуганная Люда курила, примостившись в уголке.

– Вот, – Ваня положил тесаки на столик.

Клочков презрительно ухмыльнулся.

– Кем ты себя возомнил, Чаком Норрисом? Да этот здоровяк нам рыпнуться не даст.

Люда вздрогнула.

– Но ты же сказал...

– Что я сказал? – гаркнул мясник. – Сиди молча и жди спасателей. Или...

Клочков уставился на дверь. Лицо его побелело. Люда заверещала. Пальцы Вани оплели рукоять тесака.

Из оконца на них смотрел Ильин. Не весь Ильин – только его голова. Оторванная, буквально выкорчеванная. Чучун держал голову за волосы. Из ошметков шеи свиным хвостиком торчал позвоночник.

Клочкова стошнило прямо на стол.

Существо, скалясь, ткнуло в оконце страшной ношей. Нос мертвого Ильина хрустнул. От второго удара лопнули его губы, и резцы закрипели о стекло. Третий удар разукрасил стеклопакет трещинами.

– Назад! – скомандовал Ваня. Он сгреб Люду в охапку. Существо уронило голову бедного Ильина и когтями выковыривало стекло. Рвало дверное полотно как картон.

Не разбирая дороги, люди кинулись на склад. Пока Ваня закрывал складскую дверь, Люда вопила на мясника:

– Чтoб ты сдох! Это ты виноват! Это из-за тебя!

– Не сейчас, – остановил ее Ваня. – Демид!

Клочков будто остолбенел. Ване пришлось потормозить его. Изo рта Клочкова со свистом вышел воздух. Он заморгал изумленно.

– Да-да, я здесь...

– Выбегаем в боковую дверь. Ильин далеко не уехал. Машина где-то возле магазина. Люда?

– Я готова, – сказала девушка, вытирая слезы.

Они выскочили из «Северянки», по тесной улочке к полоске ночного неба. Люда споткнулась, ойкнув, упала на четвереньки. Ваня подхватил ее. Она всхлипнула благодарно. Клочков махал им, стоя в конце проулка.

«Надо же, – успел подумать Ваня. – Не ушел без нас».

Великан вырос за спиной мясника, будто сформировался из мрака. Темечко человека едва доходило до его ребер. Могучие лапы взмыли и опустились на ничего не подозревающего Клочкова. Смяли, ломая кости, круша грудную клетку, запечатывая предсмертный вопль. Кровь обагрила снег.

Ваня втащил девушку обратно на склад. Чудище уже громыхало по переулку. Тесак звякнул о плитку.

«Ключи, где ключи? К черту!»

Ваня толкнул Люду к холодильным установкам:

– Залезай!

Девушка покорно втиснулась между стеной и холодильником. Он нырнул следом, и секунды спустя вонь из пасти чучуна опалила их. Боком, царапая плоть железными деталями, они попятились вглубь. В щели маячила свирепая морда существа. Чую самку, оно рычало нетерпеливо. Когда мохнатая лапа просунулась за холодильники, Люда зарыдала.

– Слушай внимательно, – сказал Ваня.

Она повернула к нему заплаканное лицо. Косы растрепались, щеки были выпачканы. Объемный бюст нелепо расплющился о конденсатор.

– Вылезай с другой стороны и беги на улицу.

– А ты?

– Я тебя догоню.

Молясь богам верхнего мира, Ваня схватил обеими руками протянутую лапу чудовища.

– Давай! – закричал он.

Существо заревело, когти располосовали куртку парня. Но он держал тварь изо всех сил, используя холодильник как опору. Он бы самого Улу Тойона держал, Уйван-богатырь.

Глаз Иститок парит над тайгой. Он не видел за Ваней Григорьевым грехов.

Чучун тряс человека, левой лапой отпихивая холодильник. Тяжеленная установка рухнула, освобождая путь. Ваня разжал пальцы, не раздумывая шмыгнул под локтем великана. Разница в росте отсрочила гибель. Снова переулочек, смоляные косы Люды впереди, улица. Автомобиль Ильина ближе, чем он предполагал. Врылся кормой в сугроб, и снег вокруг протаял от горячей крови.

– На помощь! – заорала Люда. – Пожар!

В двух окнах зажегся свет.

Ваня поймал запястье сотрудницы. Двадцать метров до «мерседеса», десять метров.

Рык возвестил о появлении чучуна.

Водительские дверцы валялись рядом с обезглавленным телом Ильина. Беглецы юркнули на мокрые липкие сиденья.

Внуку Ильина недавно исполнился год. Клочков летом женился.

– Пристегнись! – велел Ваня, заводя мотор, косясь в зеркало. Существо настигало.

Авто тронулось, и Ваня издал ликующий крик:

– Получилось!

Крыша «мерседеса» прогнулась от веса твари, машина вильнула. Ваня припал к рулю. Ветер врывался в салон через отсутствующую дверь, туда же вторглась лапа чучуна. Одной рукой Ваня пристегнул ремень.

Люда запричитала отчаянно.

Автомобиль кружил, оглашал улицу призывными сигналами, оседлавшее его чудовище терзало сталь, скрежетало клыками, тянулось к глоткам, к запаху самки.

Пропасть качнулась в лобовом стекле, Ваня отпустил руль и обнял Люду. Зажмурился.

«Мерседес» прошел дорожное ограждение и ухнул в пятиметровую глубину за ним. Грохот, плеск... тишина.

– Люда, Людочка!

Девушка разлепила искушенные губы:

– Где он? Мертв?

Существо скулило из мглы.

– Почти, – сказал Ваня, отщелкивая ремень, вызволяя Люду.

Машина угодила в мелкий быстрый ручеек на дне ущелья. Бугристые склоны поросли соснами, чьи корни частично торчали наружу, как одеревеневшие спруты. По ущелью струился сизый туман.

Чучун отползал от ручья, цепляясь лапами за мох. Его задние конечности были перебиты.

Ваня достал из кармана электрический нож, снял чехол. Надавил на кнопку, и нож зажужжал приятно. Парень вспомнил вдруг, как лунной ночью они с дедом эксгумировали тело матери, как он ножовкой отпиливал мамину голову, чтобы мамочка не стала деретником. Как закопали ее, перевернутую на живот, с головой, уложенной меж колен.

Он наступил ботинком на поясницу чучуна. Существо не сопротивлялось. Застыло смиренно. Ваня наклонился и вонзил нож в затылок чудовища. Зазубренное лезвие намотало на себя грязные патлы и легко прошло в мозг. Существо дернулось и обмякло. Туман саваном окутал труп.

Ваня сел на прогнивший сосновый ствол около Люды. Лента дорожной ограды свисала в ущелье, но саму дорогу он не видел, как и трубу котельной.

– Скоро приедет полиция, – сказал он.

Люда погладила его по плечу.

– Спасибо.

Ваня кивнул. Он думал о том, почему он не видит трубу котельной, куда делась труба?

Туман окуривал искореженный «мерседес», плыл над журчащей водой, над каменистой почвой. «Чирк-чирк-чирк», – раздалось из тайги, словно там точили ножи.

Ваня сильнее стиснул Людину ладонь.

За пределами Котьей страны

– В одиннадцать лет, – проговорила Женя, – меня похитил сумасшедший.

Стас поперхнулся пивом и воззрился на невесту, рассчитывая, что она объяснит смысл шутки. Но она не шутила, увы.

За десять минут до этого внезапного откровения она вела автомобиль, изнывая от жары, то и дело трогая решетку кондиционера. И немного – совсем чуть-чуть – злилась на Стаса. Ну почему в детстве он предпочитал оружие машинкам? Почему к своим двадцати пяти – он был младше Жени на год – не удосужился научиться водить машину?

Мышцы ныли от дорожной тряски, платье липло к телу, и ужасно хотелось в душ. Она предложила выпить кофе. Стас был не против пива. Снимая с подола белую шерстинку, Женя все ему рассказывала.

– Я гуляла во дворе, а он подъехал на велосипеде. Спросил, умею ли я бинтовать кошачьи лапки. Мол, его кошка поранилась, и срочно нужна помощь.

За окнами закусочной дребезжали грузовики. Поднимали тучи пыли. Слева от кафе расположилась насыпь, напоминающая взлетную полосу или стелу. На нее взгромоздилась массивная скульптура – бык в натуральную величину, выструганный умельцем из дерева. Рога целились в трассу, агрессивно раздувались ноздри с продетым в них металлическим – дверным – кольцом. Краска облупилась, оголив стыки между распиленными комелями. Бычья морда напоминала кого-то Жене, но она не могла понять кого.

Внутри закусочной царили тишина и духота. Висели на стенах охотничьи трофеи, головы животных. Припорошенные пылью лисы, олени и кабаны. Какой-то шутник нахлобучил на волка красную кепку с логотипом Национальной баскетбольной ассоциации. Оскаленный зверь был смешон и жалок.

Вентилятор загребал лопастями спертый воздух. Бисеринка пота скользнула по щеке девушки и капнула во впадинку над ключицей.

Вчера Женя познакомилась с родителями будущего мужа: после трех часов езды ее ждал радушный прием, сытный ужин и ночлег. Родители Стаса оказались чудесными гостеприимными людьми, и все прошло великолепно. Если бы не пара сиамских котов, норовивших запрыгнуть на колени. Зная о пунктике невесты, Стас попросил запереть живность на время, а Женя солгала про аллергию.

Теперь они возвращались домой.

Это была любовь, как в книгах, которые запоем читала покойная мама Жени. Полгода романтики, обручальное кольцо, подаренное под переливы саксофона...

Счастье – слово, требующее особо бережного отношения. Его нужно шепотом на ухо, а лучше вовсе – телепатически, чтобы не замусолить.

На кой черт она вообще заговорила о похищении? Какой петух ее клюнул испоганить это утро?

Но отступать было поздно. Баюкая в ладонях чашку пресного кофе, Женя сказала отстраненным голосом:

– Варшавцево – страшное захолустье. Все друг друга знают. И его моя мама знала – безобидный чудаковатый, он обитал на окраине, в частном доме, полном котов. Сторожил автостоянку. Дядя Толя Кукушка. Я не боялась его. А зря.

Она смежила на миг веки и перенеслась мысленно в шахтерский городок, увидела как наяву обшарпанную пятиэтажку, голубятню, врытые квадратом шины. И возле велосипеда увидела приземистого мужчину в растянутом свитере, его большие детские глаза, его робкую умоляющую улыбку.

Зазвенели колокольчики, бородатый дальнбойщик заскочил позавтракать.

– Он держал меня в подвале, – продолжала Женя. Ошеломленный Стас слушал, открыв рот. – Три месяца, пока мама сходила с ума и милиция прочесывала степь, а водолазы ныряли в затопленный карьер.

– Он тебя?..

Немой вопрос повис в жарком воздухе. Насиловал? А если да, подумала она, Стас изменит свое к ней отношение? Будет он брезговать, касаясь ее тела?

«Нет, – сказала она себе. – Только не Стас». Их секс был прекрасен, и этого никто не отнимет.

– Господи, – его рука метнулась к Жениному предплечью, к вытатуированному сердцу. Рисунок маскировал тонкий рубец, шнурочек, перечеркивающий вены.

– Я соврала, прости. Это был не несчастный случай. – Женя погладила пальцами шрам. – Я сама.

– Ну... я догадывался. Из-за... него?

– Возможно. Мне было шестнадцать. Соседи косились на меня, словно я виновата, что дядя Толя... что он...

В горле першило. Женя отхлебнула остывший кофе.

– Маленький городишко. Людям скучно, они выдумывают небылицы. И сверстники стонились меня как прокаженную. Я была парией. Парни нафантазировали разное про мое пребывание в подвале, – она убрала со лба каштановую прядь. – Но мой ответ – нет. Кукушка не насиловал меня и не бил. Кормил регулярно невкусной рисовой кашей. Такой, комками. Поил сладким чаем. Играл роль доброго дедушки. Он правда был добр ко мне.

– Он украл ребенка, – воскликнул Стас.

Официантка просканировала взглядом их столик.

– Толя стриг мне ногти. Это был своеобразный ритуал. Рассказывал сказки, которые сам и придумывал, очень несуразные, про страну кошек. Котью страну, – Женя поймала себя на том, что улыбается горько, – и фотографировал полароидом каждый вечер. – Прочитав смятение на лице Стаса, она уточнила: – Одетую. В моей истории нет эротики.

– Да ну, – усомнился он и смочил губы в пивной пене.

– Я скучала по маме, а он утешал меня. Говорил: подумай, как ты уйдешь? Как мы будем без тебя? Мы – это он и его кошки. Дюжина, не меньше. Они жили в подвале. Постоянно ползали по мне, без конца перебирали лапами, месили меня как тесто.

– Так вот почему...

– Почему я не люблю кошек, – заключила Женя. – Три месяца я сидела в провонявшем кошачьей мочой кирпичном лотке. А они терлись, терлись, терлись. Там везде была шерсть, забивалась мне в рот, в ноздри, в легкие, и я плакала, лежа в коконе из шерсти. А Кукушка утешал меня и кормил из ложечки. Но эта неприязнь к котам пришла позже. А тогда я воспринимала их как друзей. Как сокамерников. И дядю Толю воспринимала как друга. Он не желал мне зла. По какой-то причине он не мог меня отпустить, и я тосковала, но... обвыкла. И я была достаточно взрослой, чтобы понимать, что он... ну... дурачок.

– И как же ты выбралась?

– Дядя Толя приносил мне раскраски. Уходя, он забирал фломастеры с собой. Он был глупым, но кое-что соображал. Однажды я тайком вытащила из фломастера стержень. Написала записку и сунула под ошейник коту, который, я знала, бегал во двор к Толиной соседке.

– Умница! – восхитился Стас.

– Соседка вызвала милицию. Помню, как мужчины в бронежилетах вели меня по коридору, а дядя Толя стоял на коленях, лицом к стене, и провожал меня взглядом. Он рыдал.

– Его посадили?

– Отправили в психушку на принудительное лечение. Не знаю, жив ли он. Наверное, жив. В девяносто девятом ему было лет пятьдесят. Одиноким псих с кучей блохастых котов.

– Ты будто оправдываешь его! – проворчал Стас.

Женя поигрывала локоном, рассматривая вытатуированное сердце. Думая про обшарпанную ванну и про то, как бритва полосует кожу и вода становится багровой. Истеки она кровью в шестнадцать, ничего бы не было: ни Стаса, ни счастья, ни этого пыльного шоссе с дурацким быком на пьедестале.

– Моя мама, – медленно сказала Женя, – была не такой, как твоя. Более сухая, сдержанная в эмоциях.

– Считаешь, мама со мной сюсюкает?

Пожалуй, она так считала, но это была белая зависть.

– Твоя мама – великолепна. И моя любила меня, но никогда не говорила об этом. И, похоронив единственную дочь заочно, она сломалась. Начала злоупотреблять спиртным. Она страдала, словно я не вернулась к ней, словно меня не спасли. Нервы свели ее в могилу.

Взбодораженный Стас залпом допил пиво и заказал второй бокал. Шел две тысячи двенадцатый год, и его алкогольная зависимость еще не превратилась для Жени в проблему.

– Почему ты заговорила про маму?

– Потому что впервые фразу «я люблю тебя» я услышала от человека, укравшего меня. Это подкупало ребенка, не избалованного лаской. Кто скажет, что творилось в больном мозгу дяди Толи Кукушки?

– Да наверняка он дробил на твои фотки! – выпалил раскрасневшийся Стас. Сообразив, что сболтнул лишнее, он осекся и порывисто пересел к Жене. Обнял ее и прижал к себе.

– Прости.

– Прощаю.

Он очертил пальцем алое сердце. Так нежно, что она замурлыкала тихонько. Он спросил, глядя ей в глаза:

– Почему ты раньше молчала?

– Это не те вещи, которыми хочется делиться...

– С первым встречным? – обиделся он.

Женя потерлась носом о его шею по-кошачьи.

– Я рассказала тебе, потому что в какой-то степени ты тоже вытащил меня из того подвала. Ту частичку, что не могла освободиться и пребывала в заточении. Помог порвать с прошлым.

– Я – твой супермен, да?

– И мы – одна команда.

Статуя быка колебалась в знойном мареве. Стас предложил заказать пиццу.

В августе тест на беременность покажет положительный результат, и они отметят радостное событие шампанским. На седьмом месяце у Жени пойдет кровь, темная, со сгустками. Врачи скажут, что младенец умер и она пятнадцать недель носила в себе мертвого ребенка. Женя вытребует фотографию: крохотное тельце в околоплодных водах. Сморщенное личико. Малыш. Мальчик.

Та же участь будет ждать и их следующего сына.

Аппетит пропал. Она пожалела, что заказала пиццу. Ковырнула вилкой сыр – он отклеился бугристым пластом. Женю замутило, она сглотнула кислую слюну, отпихивая от себя тарелку.

Забальзамированных зверей в закуской было больше, чем посетителей. Хищники таращились стекляшками глаз. Волк так и не снял свою красную кепку. По его клыкам лениво полз паук, мастерил в разверстой пасти сети.

«Когда это было? – прикинула Женя, отворачиваясь от пустого кресла напротив, устремляя взор за окно, – в пятнадцатом году? Нет, в двенадцатом. Мы возвращались от его родителей. И я была беременна».

Тоска навалилась, неподъемная, злая. В кармане не прекращая вибрировал телефон. Постоянные звонки за час съели заряд аккумулятора. И это меньшее из того, что они съели, поглотили с костями, не пережевывая.

Кофе был по-прежнему гадким.

«Хоть что-то в мире не меняется», – подумала она, рассматривая унылый пейзаж.

Моросил холодный дождь, отмывал асфальт. Лужи пузырились у обочины. Косые линии заштриховали фигуру деревянного быка. Он бодался с непогодой, стоя на своем пьедестале. Именно бык помог ей узнать закускую.

Весной Жене стукнуло тридцать, но выглядела она лет на пять старше. Одутловатое лицо, мешки под глазами. Выпирающий животик. Сыпь в складках жира и под грудью – семейный доктор сказал, от стресса.

Мобильник пульсировал без устали.

Она вынула его, погрызла ноготь – привычка, которая так бесила мужа. Вдохнула и чиркнула по экрану.

– Аллю.

– Ты где? – зашипел в трубку Стас.

Она представила, что его голос исходит из пыльной волчьей пасти.

– Вышла прогуляться.

– Прогуляться? – он повысил тон. – Прогуляться, блин? Тебя нет с утра. Ты шляешься черт-те где, а в холодильнике мышь повесилась.

Подмывало сказать, что не только мышь повесилась бы от такой жизни. Но вместо этого она проговорила:

– Со мной все нормально.

– С тобой – может быть, – ярился Стас, – но я отпахал двенадцать часов и хотел бы поужинать. Это сверхъестественное желание для женатого человека? Горячий ужин?

– Разогрей суп, – она не пыталась придать голосу заботливые интонации.

– Да он скис к чертовой матери.

– Я сожалею.

– Сожалеешь? Ты издеваешься, Жень?

Она испугалась, что он расплчется. Слезы мужа выводили ее из себя. А плакал он часто, театрально и выпендриво – есть же такое слово? Особенно захмелев.

– Я оплакиваю свою молодость, – говорил он.

– Телефон сейчас разрядится, – не соврала Женя, – а мне нужно кое-кого навестить. Не переживай. И пей таблетки.

– Навестить?

Она прервала звонок и выключила мобильник. Бросила на стол мятые купюры, побрела к выходу, и чучела беззвучно перешептывались, судачили.

Стас – сегодняшний, обрюзгший Стас – вот на кого был похож деревянный бычок. Он нахохлился, подогнул одно копыто, раздул ноздри, готовясь ринуться в атаку, сигануть с насыпи на трассу.

Сидя за рулем, Женя вообразила, как оживший бык мчится, тараня покатым лбом струи дождя, как вминается в автомобиль. Визжит металл, кабина сплющивается, а рога протыкают стекло и выкорчевывают дверцы. Дождь хлещет в салон. Бык пятится для следующей атаки. Его конечности скрипят, кольцо бьется о толстые губы.

Прыжок – и деревянный штырь впивается в горло Жени.

Она помассировала переносицу, стряхивая оцепенение.

Бык лоснился, облупленный и старый.
Бесполезный.

– Иди к черту, – прошептала Женя.

Вдавила педаль газа и вывернула с парковки. По бокам шоссе чернела степь. Серая муть на горизонте, низкие тучи над рудными отвалами и шахтными башнями. Померещилось, что кто-то движется параллельно дороге – бык, конечно, отправившийся на поиски добычи.

Автомобиль миновал здание дробильно-сортировочной фабрики и въехал в город, из которого Женя сбежала десять лет назад.

Варшавцево приветствовало ее ударом грома. Молния расколола небосвод. Озарила фасады хилых пятиэтажек, провинциальный автовокзал и потемневшую, отяжелевшую листву деревьев. По безлюдной улице ползла допотопная уборочная машина. Ленин важничал, оседлав цементный куб.

Город был захиревшим, полудохлым и неожиданно родным. Со всеми этими крапчатыми парапетами, замусоренными оврагами и ржавыми качелями во дворах.

Зачесалось предплечье – она поскоблила ногтями татуировку, затем куснула ее зубами, как кошка, ловящая блох.

Идея приехать сюда посетила ее днем на почте. Она стояла в очереди, рассматривая молодую почтальоншу, действительно красивую брюнетку.

Сердце обливалось кровью, а другое сердце – на руке – зудело.

Стас называл почтальоншу «июленькой». Так нежно. Женя прочла метры их переписки, зачем-то вызубрила наизусть трогательные куски.

«Хочу быть с тобой всегда». «Хочу проснуться рядом и целовать тебя».

Бла-бла-бла.

– Я вас слушаю, – сказала брюнетка, улыбаясь дежурно. Наивная дурочка.

Женя покинула почту, не проронив ни слова. Что ей говорить, когда у соперницы такое тело и такая грудь?

Варшавцево чувствовало себя виноватым перед ней за насмешки, за сплетни.

Она ощущала вину – за то, что продала квартиру, что даже маму похоронила не здесь. Будто стеснялась прошлого, вот этих оврагов и лесенок стеснялась.

Бюст основателя города скучал на пустыре около школы.

«Ты придумал имена для наших детей?» – спрашивала любовница Стаса.

«У нас будет сын, – отвечал он, – Тимофей».

Двух его мертвых сыновей врачи извлекли из Жени. Пора попробовать запасной вариант.

Ранние сумерки сгущались над Варшавцево. Пропетляв, попотчевав ностальгию видами скверов и знакомых подъездов, Женя покатила на окраину городка. Частный сектор тонул в грязи. Местные власти не удосужились заасфальтировать улочки. И автомобиль пару раз чуть не увяз в болоте, но вырулил к скопищу домишек.

Тут? Нет, погодите...

Она не замечала, что расцарапывает татуировку и набухший рубец.

«Тимофей», – подумала Женя, словно укусом плеснула на рану.

Взор прикипел к горящим окошkam скособоченной хаты. Ее лицо просияло.

Она вспомнила все: черепичную крышу и руины амбара, курятник во дворе и щербатый забор. Штукатурка отвалилась, стены выставили на обозрение рыжий кирпич.

Существуют дыры, которые не заштукатурить, и шрамы, которые нельзя утаить под татуировками.

Жене казалось, что она – марионетка на ниточках кукловода. Что она выходит из машины и шлепает по лужам против своей воли. Звонок запиликал. Топчась на сгнившем крыльце, она мысленно состряпала монолог:

– Здравствуйте. В девяностых в этом доме жил мужчина по фамилии Кукушка. Вы не в курсе, что с ним случилось?

Тук-тук-тук – раздалось за дверью.

Свет залил Женю, и она сощурилась, механически заслонила пятачком. Сквозь растопыренные пальцы она увидела на пороге человека, старика с небритым задубевшим лицом, с мясистым носом и удивительно синими мальчишескими глазами.

– Привет, – сказала она, поборов оцепенение.

Дядя Толя подвинулся, пропуская ее в дом. Она вошла, озираясь. Выцветшие обои висели лоскутьями. Потолок испещрили потеки. Смердело кошачьей мочой.

Стабильность. Ей нравилось это слово.

Дядя Толя безмолвствовал. Лишь смотрел, не моргая, на гостью, и его дрожащие руки перебирали воздух.

– Узнал?

– Да, – прохрипел он и прислонился к стене.

Женя затревожилась, что он умрет здесь, в коридоре.

– Эй, дыши. Эй, – она потянулась, чтобы отрезвить его пощечиной, и охнула: старик проворно схватил ее за кисть.

«Спокойно», – велела себе Женя.

Дядя Толя прижался губами к Жениным костяшкам и поцеловал робко. Слезы заблестели, придав синеве новый оттенок. Он целовал ее и глядел подобострастно.

– Где же ты была так долго? – спросил он, обретя дар речи.

– В разных местах, – сказала Женя, думая обо всех этих местах и том, что они ей дали.

Когда в юности она надевала короткие юбки, мама кричала:

– Тебя снова украдут, и мне будет плевать! Я устала волноваться! Забыла, что с тобой сделал тот маньяк?

А что он с ней сделал?

– А что ты со мной сделал? – произнесла она вслух.

– Я же просто... – безумный старик всхлипнул, – просто защищал тебя, – он мотнул головой на дверь, – от них всех. Ты такая хрупкая. Тебя нельзя было выпускать.

Женя осторожно высвободила руку и прошагала по коридору. Дядя Толя следовал за ней, бормоча неразборчиво. Промелькнувшие годы – девятнадцать лет! – наложили на него свой отпечаток, но он не казался одряхлевшим. Он до сих пор мог постоять за себя. И за нее тоже. Защитить от грома, от деревянных быков.

– Разрешить?

– Конечно! – судя по выражению лица, дядя Толя думал, что спит и видит сон.

Женя толкнула дверцы, нащупала выключатель. Вспыхнула лампочка. Она пошла по ступенькам, и ступенек было ровно восемь. Подземелье воняло зверьем.

Подвал уменьшился.

«Потому, что я выросла», – сказала себе Женя.

Стены покрывали полароидные снимки – восемьдесят девять штук, по количеству дней, проведенных в плену. Маленькая Женечка смотрела в объектив – изучала чужую, изуродованную жизнью тетку.

Женя поразились тому, что на большинстве фотографий девочка улыбалась.

В свете лампочки парили пыль и шерстинки.

Кошки гнездились на трубах отопления и под трубами, вылизывались в углах, охотились на блох. Их зеленые глаза наблюдали за гостями. Рябая животина грациозно выгнула позвоночник и обнюхала Женины туфли. Потерлась о ноги, урча. В коробке из-под обуви пищали шерстяные комочки – потомки сокамерниц Жени.

– Они скучали, – сказал дядя Толя за спиной.

В глубине узкого помещения он соорудил что-то вроде алтаря. Перед еще одной взятой в рамку фотографией Жени лежали рисунки котов, крошечные запятые состриженных ногтей и резинка с серебристыми бубенчиками.

Женя взяла резинку и собрала ею волосы в хвост.

Резкий запах уже не мешал. Так пахла Котья страна. Страна, придуманная для нее одной.

– У тебя можно переночевать? – спросила она, оглядываясь через плечо.

– Да-да, – закивал дядя Толя. Усилия психиатров пропали даром; его подбородок был мокрым от слюны, глаза лучились обожанием. – Я постелю тебе в спальне, маленькая принцесса. А сам посплю на кухне.

– Не стоит. Я хочу спать здесь.

– Хорошо, – прошептал он, – это хорошо.

– Не плачь. – Женя села прямо на пол, и кошки тут же окружили ее, мяукая.

– Я сочинил много новых сказок о Котьей стране, – дядя Толя потупился и прошептал с надеждой: – Хочешь послушать их?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.